

1967

Если не смеяться над двадцатым веком,  
То надо застрелиться.  
Но долго смеяться над ним не выйдет!

*Ремарк*

То роковое ВСЁ РАВНО,  
Которое подготавливает  
Чреду событий мировых  
Лишь тем одним,  
Что НЕ МЕШАЕТ

*Блок*

*1 января*

Мне давно уже приходило в голову, что единственная возможная оценка всего прожитого, особенно за такой долгий срок, как моя жизнь, единственный критерий такой оценки, на который можно как-то положиться, – это всё-таки **судьба**. Что будет дальше, тоже судьба. Как только ставится вопрос, решается загадка о чём-то вполне единичном, индивидуальном, биографическом, – судьба тут как тут.

Пускай она – моя рабочая гипотеза, устарелое допущение, непризнанное всей современной наукой, пускай даже «мистика», но без этой сказки про Ивана-Дурака, без таланта (в противоположность таланту), без орла и решки – никак нельзя обойтись в серьёзной оценке. В связи с этим я прихожу к выводу, что смолоду был всё-таки удачлив, удача шла мне навстречу. Я не всегда умел, не поспеивал и не старался пользоваться ею, но так оно и было, и, что там греха таить, продолжалось вплоть до сегодняшнего дня, а мне семьдесят лет и ровно шесть месяцев. <...>

В журнале “Москва” печатается последний роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», о котором столько ходило слухов: о его значении, блеске, талантливости. Слухи подтверждены. Это произведение поразительное по широте и охвату замысла, по свойственному именно Булгакову темпераменту. По фантастичности самой фантазии это вообще ни с чем не сравнимо, разве с Гоголем, разве с Шекспиром! «Интервенция» внутри романа евангельской истории, может быть, самое поразительное в нём. Некоторые люди говорят, будто бы заслуга Булгакова в том, что он лишил Христа божественности, очеловечил и приземлил его. По-моему, как раз наоборот: ни у кого, кроме средневековых живописцев (или, может, у Достоевского) не было такого неземного ореола, как у Христа в его встрече с Пилатом в Булгаковском романе. Но ходят зловещие слухи, что вторая часть напечатана уже не будет.

Таким образом, главная тема моего дневника за 66-й год снова возникла. Она может быть продолжена почти состоявшейся переменной в редакции “Нового мира” – уходят (должны уйти: заставили...) Дементьев и Закс<sup>1</sup>. Наша литература еле дышит.

*2 января*

Только две вещи у Пушкина всегда казались чем-то глубоко ему несвойственным и чуждым. Первая – «летит обжорливая младость» в «Онегине». Такое определение младости в устах Пушкина звучит досадной и случайной ошибкой. Оно явно не пушкинское. Трудно

понять, почему оно пришлось ему по вкусу в этом случае и зачем вообще понадобилось! Но, в конечном счёте, это только случайность, не более.

Второе – серьёзное. Это последняя строчка в знаменитом и гениальном «Для берегов отчизны дальней...»:

– Но жду его – Он за тобой.

Ничем, никаким лирическим движением целого, ни его смыслом, ни интонацией не вызвана такая внезапная надежда на загробное свидание. Всё стихотворение тем и замечательно, что оно с начала до конца проникнуто одной светлой, безотзывной печалью, которая обречена на то, чтобы остаться без отклика: откликаться решительно некому. Об этом и сказано в стихах и утверждено ещё раз в предпоследней строке:

Исчез и поцелуй свиданья...

Зачем же Пушкину понадобился этот примитивный и неубедительный возглас? Даже Бородин<sup>2</sup> в своём романсе не спас этих шести слов и не спасся сам от режущей фальши.

*4 января*

Я справил пенсионные дела, получил номер “Юности” (со статьёй о Тихонове) и без конца говорил по телефону по делу и без дела. Кое-какие новые книги: однотомник Булгакова («Театральный роман» – язвительнейшее и очень смешное повествование!).

Надо дать деньги Асе Цветаевой на машинную перепечатку, надо посмотреть вёрстку маленькой книжки в Гослите, подписать договор в “Сов. писе”, ещё какие-то дела.

Вот я и прочёл весь до конца роман Булгакова «Мастер и Маргарита». И окончательно убеждён, что это вещь гениальная. Может случиться, что обо всей нашей эпохе, обо всех её пятидесятых годах будут судить по этому роману, и его окажется достаточно.

Связь с событиями страстной недели, с поведением, мыслями, чувствами, понятиями Пилата и других действующих лиц, окружающих его, эта связь, чем дальше развивается повествование, действует всё сильнее, убедительнее, бесспорнее, неизбежнее. Конечно, ни у кого из нас, современников Булгакова, не было такой горячей, хлещущей жизнью, раскованной и лёгкой фантазии. Не было чувства такой свободы. Ничего не может быть печальнее этого романа, печальных конечных выводов, которые сами возникают при чтении. И в то же время, и в этом сила романа, он удивительно оптимистичен. Поистине «Радость, о радость – страданье».

Только что закончил роман и мне хочется непрерывно думать о его героях, но главное – об авторе, Михаиле Афанасьевиче Булгакове, каким он был тогда, в начале и в середине двадцатых годов. Он не мог не знать своей силы и того будущего – посмертного и бессмертного – которое только теперь понемногу и очень скупо для него сбывается. Но ведь лиха беда начало! .

*6 января*

Вчера приходили харьковские школьницы, организаторы в своей школе музея Лермонтова. Наша дружба возникла ещё в 1964 г. Потом пришёл Л. Левин. Нового в его будущей книге как будто нет ничего, так что разговор вертелся общий.

Зловещие слухи насчёт “Нового Мира” вполне оправдались. Оттуда вынуждены уйти Дементьев и Закс. Не по доброй воле, конечно. Но им приходится самим подавать в отставку: ЦК, как всегда, предпочитает фальшивое скрывание себя за кулисами, а свой приказ представить якобы тайной. Но об этом знают доподлинно и в подробностях все решительно.

Так начинается Новый год.

Вышел первый номер реформированной “Литературной Газеты”. Внешне выглядит довольно импозантно, а внутрь заглядывать, ей богу, нет охоты!

В “Сов. писе” подписал договор на новую книгу стихов, которую должен сдать в мае, но у меня уже бóльшая часть готова.

Две ближайшие заботы: собрание этой книги, собрание гражданской поэзии Франции. И ещё дело: исполнить давнишнее обещание Геннадию Фишу написать о его книгах: Дания, Швеция, Норвегия, Исландия.

*8 января*

Читаю большую работу Н. Н. Вильяма-Вильмонта<sup>3</sup> о Достоевском и Шиллере<sup>4</sup> в сборнике его статей. Это интересно, но очень уж беспорядочно и болтливо. Как-то само собою разумеется, что Шиллер серьёзно замешан в развитии Достоевского, влиял на него на протяжении всей жизни вплоть до «Карамазовых». Но Николай Николаевич всё же наивно восторженный почитатель обоих и поэтому объединяет обоих там, где это совсем не требуется! Находит, например, схожие сюжетные ходы в «Униженных и оскорблённых» и в «Коварстве и любви». Сходство налицо, но это ничего решительно не означает: все сюжеты в мире похожи друг на друга, потому что их вообще не так уж много, – кто-то подсчитал, что всего тридцать шесть... Кроме того, в исследование то и дело врывается экскурс в Канта, и тут автор выдаёт себя как очень раздражённого оппонента Голосовкеру и его недавней книге «Достоевский и Кант». Но есть у Вильяма-Вильмонта и блестящие страницы, есть и темперамент.

В конце этого большого, в 300 страниц, исследования есть кое-что очень занимательное, относящееся к Канту. Для меня оказалось абсолютной новинкой учение Канта об антиномиях, о его антитетике.

Я раскопал очень старую свою книжечку со стихами от 16-го до 19-го года и решил многое использовать для новой своей книги. <...>

*11 января*

Мой давнишний и очень милый корреспондент, старый ленинградский учитель А.С. Гольдич прислал мне недавно письменные отзывы своих учеников, девятиклассников, на мой Пушкинский цикл. Большинство выделяет «Балладу о чудном мгновении», некоторые – «Дорогу». Это письмо трогательный подарок к новому году. <...>

Продолжаю читать книгу Вильмонта: о Гёте, о Т.Манне<sup>5</sup>. Есть интересные частности, но и полемически-азартного вздору тоже порядочно. <...>

На столе у меня рукопись Марины – весь её «Театр», который выйдет в “Искусстве”.<sup>6</sup> Я буду писать о ней статью.

*13 января*

Мы встречали старый Новый год у Нагибиных. Я подарил Белле самодельную книжку для новых стихов и она мне – тоже. Оба написали друг другу рифмованное приветствие. Вечер был хорош. Я выпил чуть больше, чем следует, но это правильно. На дворе сейчас чуть ли не -25°, звёзды горят во всю и снегу навалило. <...>

*14 января*

Во вчерашнем пребывании у Нагибиных был момент по-своему просто жуткий, когда оба старика, Ксения и Яков Семёнович, без видимой причины напали неизвестно за что и зачем на роман Булгакова «Мастер и Маргарита», а следом за тем и на всё остальное его творчество. При этом слова самые ругательные и скверные: говно, дрянь, гадость и прочий ассортимент. Самая глупая, бездоказательная, откровенная злоба. Сегодня утром зашла к нам Белла и говорит, что именно поэтому (то есть в ужасе от их воплей) Юра сорвался из-за стола и, как все думали, просто пошёл спать. На самом же деле ему стало тошно, обидно и стыдно за стариков. При этом у Якова Семёновича есть удобная и лёгкая отговорка, если требуешь от него аргументации. Обычно он мгновенно устраняется от объяснения и многозначительно, загадочно произносит: «Ну это, знаете, ба-альшой разговор...» Явный признак, что сказать ему в общем нечего.

Тут же ещё и Эренбургу попало по первое число за действительно ничтожную и жеманную статейку о собаках в «Юности». И тот же набор стариковского злопыхания и сквернословия, распространённый на всего Эренбурга в целом.

Скажу по правде, меня это совершенно выводит из себя: хочется бежать без оглядки из этого дома, чтобы не рисковать серьёзно испортить отношения каким-нибудь вырвавшимся нечаянно оскорблением... Говорится всё это в таком тоне, в таком запале, с таким чувством превосходства морального и эстетического, что бог их знает, как в твоём отсутствии они ещё скажут о тебе самом!!!

*15 января*

Аля Цветаева прислала мне перепечатанную на машинке запись Марины «Рассказ о премьеры “Кота в сапогах” Антокольского 2/15 марта 1919 г.» Это рассказ самой Али, когда ей было шесть лет. И она прибавляет, посылая листок мне: «Почти столетия спустя!» Вот с какими расстояниями во времени встречаешься на старости лет всё чаще и чаще. Я помню, что когда-то «десять лет тому назад» казалось чем-то невероятным. Детский рассказ Али трогательный и старательно точный до скрупулёзности. Но мне уже не с кем делиться этой трогательностью, даже для Зои она чужая.

*16 января*

Между «Мастером и Маргаритой» Булгакова и «Святым колодцем» Катаева - очень показательная разница. Эти произведения диаметрально противоположны друг другу. Как жизнь (Булгаков) и смерть (Катаев), здоровье и болезнь, честность и бесчестье, свобода и надсада. Где Булгаков одним мановеньем (руки, бровей, мысли) покрывает грандиозное пространство, там Катаев тщится на легковой машине проехать из Переделкина в Москву

и застревает неизвестно зачем на Киевском вокзале. А претензий у Катаева куда больше, чем у Булгакова. Но Булгаков действительно открывал новый материк, а Катаев просто эпигон, который хотел застолбить хотя бы участок на чужой территории. Это очень типичная и поучительная история.

Можно себе представить, что в недалёком будущем весь первый план русской литературы тридцатых-сороковых годов займут писатели потаённые (или утаенные): Платонов, Булгаков, Бабель, В.Гроссман, Эрдман<sup>7</sup>, если говорить о прозе. Что же касается поэзии, то такое положение уже полностью выяснилось! Марина, Пастернак, Заболоцкий, П. Васильев<sup>8</sup>, а в недалёком будущем Мандельштам положит на обе лопатки всё, что торжествовало при их жизни, всех, которые преуспевали. Мне кажется, никогда в России, а может, никогда ни в какой другой литературе не выяснялась такая поразительно трагическая картина. Даже при Николае Первом<sup>9</sup> «Мёртвые души» и «Записки охотника» всё-таки вышли в свет. Правда, не вышло «Горе от ума» – Николай не разглядел взрывной силы Гоголя.

У нас же захлопывали почём зря, направо и налево. Не удивительно, что при таком массовом уничтожении живого слова так-таки и задушили его! Помогали армия, флот, авиация, плюс агитпроп, Главлит и, наконец, Союз советских писателей, не говоря уже о Раппе и о «На литпосту», – всё это объединилось в лозунге «Ташить и не пущать».

*17 января*

Всё-таки сегодня с утра я взял и двинул с места статью о книгах Фиша для «Литературной России». Завтра она будет дописана и перепечатана, и у меня с души свалился камень. Потому что статья была обещана пять месяцев назад!

Все эти годы я стоял на той позиции, что между современной наукой и современным искусством пропасть, неизбежная в наше время: результат давнишнего (после Возрождения) расхождения дорог. Результат роковой и постепенно растущий. Возможность новой встречи, нового схождения исторических дорог мерещилась мне где-то в полной неопределённости коммунистической культуры, которая, дескать, предоставит человеку время, досуг и волю совместить в одном лице физика и лирика, как это было во времена Леонардо, Гёте, Ломоносова. Во всём этом рассуждении я был формально прав, но по существу заблуждался. Вот почему.

Самая отвлечённая из наук и по нынешним временам самая многообещающая – математика. Она соприкасается с самым отвлечённым и, может быть, величайшим искусством – музыкой. Таким образом, встреча науки с искусством уже произошла и продолжает происходить на каждом новом повороте человеческой культуры. Не видит этой встречи слепой, не оценивает её должным образом глупец, возражает её значению враг культуры.

*18 января*

Статью о книгах Г. Фиша я дописал. Статья не слишком блестящая. Так написать мог бы любой журналист, хорошо относящийся к автору. Зоя помогла мне значительно сократить написанное.

Очередная моя задача собрать новую книгу стихов и статью о «Театре» Марины Цветаевой.

Книга Халифманов (мужа и жены) о Фабре замечательна главным образом потому, что уж очень хорош её герой – энтомолог, поэт, педагог. Может быть, это лучшее, самое чистое воплощение того, чем славны французы!

*24 января*

<...> Перечитывая сейчас свои старые черновые книжки с множеством стихов, которые никогда не были напечатаны, я чувствую нечто противоречивое. С одной стороны, обо многом стоит пожалеть. А с другой – совершенно ясно, что мною руководил верный инстинкт. Я хорошо понимал, даже ещё до двадцатых годов, что не следует писать лишнее, растекаться мыслью по древу, надо добиваться краткости, быстрых и внезапных переходов, нигде не надо застревать.

И, несмотря на всё это, я занят тем, что извлекаю оттуда без конца и строфы и целые стихотворения, чтобы включить их в новую книжку в виде цикла «Раннее».

Конечно, не обходится без доработки, переработки, и всяческих других операций, крупных и мелких. Но они возможны только потому, что в корне я мало изменился за эти пятьдесят лет (шутка ли сказать!). Двадцати лет я уже в основном был сложившимся человеком и почти сложившимся поэтом, хотя насчёт очень многого в окружающем ошибался.

*25 января*

Живя за городом, втягиваешься в постоянное, уплотнённое чувство времени. С конца декабря день начал незаметно прибавляться, но сегодня это уже явственно. За месяц день увеличился на целый час. Пройдёт ещё неделя, другая, и темп увеличения возрастет. За этим следишь невольно, хотя никаких реальных перемен весна уже не сулит. Не будет больше ни прилива жизненных сил, ни бодрости, ни ожидания счастья, как это бывало в молодости. О нет, этого не будет. Остаётся одна только сочувственная внимательность к всеобщему мировому пробуждению.

Вместо всяких подновлений, подмалёвок и заплат, которые я так усердно произвожу в своих ранних стихах, следует заняться более серьёзным и трудным делом – второй главой поэмы. Это меня и пугает. Но всякая трудность преодолима. Труднее всего сосредоточиться, преодолеть первый приступ, а дальше дело пойдёт гораздо глаже и само ритмическое движение вынесет эту главу «на оперативный простор». (Образы двадцатипятилетней давности всё-таки пригодились.)

*27 января*

Марк Григорьевич Эткинд (брат Ефима) прислал мне книгу, которая оказалась необыкновенно интересной, важной и нужной для меня именно сейчас. Это книга музыканта и музыковеда Асафьева о русской живописи – в основном, о передвижниках и «мире искусства». Отголоски споров 1910-х годов и переосмысление их. Много талантливых страниц. И многое звучит вполне современно и своевременно для нас. Главное же в серьёзной совестливости автора. Прочтённое наводит на свежие мысли, в частности (это очень неожиданно, но закономерно) на мысли о Вахтангове, о Мансуровской студии, о серьёзной и совестливой атмосфере тех лет. О том, как Вахтангов её создавал и укреплял.

И может случиться (это было бы прекрасно), что моя «вторая глава» должна именно это и показать. Фокус внимания, сердце рассказа д.б. здесь.

*28 января*

Книга Асафьева прелестна. Это клад – первоисточник свежести, непредвзятой, самостоятельной и очень здоровой тенденции. Я только что закончил и готов проштудировать всю книгу ещё раз.

Единственно, за что надо упрекнуть Асафьева, это за невозможный, жаргонный язык: всякие «развлеченческие», «мировоззренческие», «мироискуснические», «передвижнические». От них текст пестрит, рябит и портит даже самые простые и важные суждения. Я было думал, что эти словечки – наше изобретение. Оказывается, дело серьезнее, порча критического языка уходит корнями в десятые или в девятисотые годы. У Блока сказано:

Свои словечки и привычки,  
Над всем чужим всегда кавычки.

Усталость языка – усталость мысли.

*30 января*

Наш бедный кот Мальчик – узник котельной. . Сердце разрывается от жалости к живому, одинокому и приниженному существу, которое не может ни с кем поделиться своей бедой. Он ищет сочувствия, активно ждёт помощи, хочет обычного общения с нами, жалуется по-своему... Зоя лечит его мазью и спиртом.

Сколько раз в течение всей жизни я был несправедливо равнодушен к глухому страданию и чужой беде. Мне не приходилось даже глушить в себе добрые чувства и сострадание – их не было и в помине. Это было именно по отношению к самым близким, к тем, которые, казалось бы, чаще всего и неизбежно должны вызывать сострадание. Я говорю про своих отца и мать в двадцатых и тридцатых годах. Мать, потому что она много и тяжело болела. Отца, потому что он был крайне беспомощен, растерян и просто ничего не понимал. И всё это проходило мимо, стороной. Когда я не был с ними, я совсем и не вспоминал о них, а когда являлся к ним, раздражался, не скрывая своего раздражения.

Всё это надо держать в памяти, не смывать чёрных пятен с души. Они слишком редко всплывают в сознании, слишком редко даёт знать о себе нечистая совесть, она слишком легко приспособилась к своей нечистоте.

И есть какое-то жуткое возмездие в том, что я сопоставляю с давно сгоревшими чёрными воспоминаниями свою сегодняшнюю жалость к бедному животному. Но дать себе полный, безжалостный отчёт, ничего не смягчая, человек обязан, если он решается быть искренним. <...>

*2 февраля*

Зоя поехала за Марией Николаевной, привезла её на улицу Щукина. После осмотра бедной Мурки, Мария Николаевна признала у неё сильное ухудшение, и эта кроткая родоначальница нашего кошачьего клана отправилась вслед за маленькой своей дочкой Дашкой на электрический стул. Сегодня к вечеру мы вернулись на Пахру в уверенности,



что предстоит то же самое с Мальчиком. Но Мария Николаевна нашла у него резкое улучшение: он хорошо обрастает шерстью, новых язвочек нет и он на пути к выздоровлению. Так что, даст бог, беда хоть над ним рассеется.

Да простит мне бог (человечество) это кощунство, но Мальчик похож на народовольца, просидевшего 25 лет в Шлиссельбургской крепости, в одиночном заключении. Он оброс, растрёпан, не умудрён никаким зрелым опытом и живёт мечтой о свободе. И если он всегда отличался аппетитом упитанного здоровяка, то сейчас он ест, как Гаргантюа<sup>10</sup> кошачьего царства.

*4 февраля*

Чуть ли не с середины тридцатых годов лежала у меня знаменитая драма П. Клоделя «L'Annonce faite à Marie»<sup>11</sup>, я и переплёл её когда-то в ситец, но вот прочёл только вчера... Нельзя быть человеком XX века, хвалиться всезнайством и культурой, нельзя самому считать себя поэтом, писателем, да ещё знатоком французского духа и пройти мимо этой великой драмы.

Она была написана в самом начале 1910-х годов и поставлена впервые в 1912 г. Драма, так же как и весь Клодель, представляет смесь декадентской, вольной мистики и самого железного, ортодоксального католицизма. По силе характеров и страстей, по столкновениям и конфликтам, которые здесь разрешаются, по суровому, горестному, смелому раскрытию сюжета эта драма может выдержать соревнование с греческим театром, даже с Эсхилом<sup>12</sup>, тем более что она и носит характер литургии. Можно сравнить и с Кальдероном<sup>13</sup>. Я убеждён, что она не менее сильна, чем Брехт<sup>14</sup>. Во всём театре XX века она сравнима разве что с Брехтом. Остальное – мельче.

Вчера вечером я не мог оторваться от этого чтения, пока не дошёл до последней страницы, несколько раз подвывал вслух в слезах. Изображение чуда с воскрешением ребёнка гениально. На сцене оно должно сводить с ума всю женскую часть зрительного зала. Это происходит в 3-м акте. Последний, 4-й хуже остальных. Он растянут, отчасти просто невероятен по событиям (сестра закопала живьём другую сестру...), отчасти слишком дидактичен. Для сцены его надо сокращать вдвое.

Если сопоставить эту драму с блоковской «Роза и Крест», то последняя никнет, слабенькая, еле держится на лирических нервных ножках, а драма Клоделя растёт мощная из земли, в узловатых сучьях, в грозной риторике. Обе драмы ровесницы.

Но как же это случилось, что я только вчера прочёл эту вещь? Сколько у меня в Москве ещё нечитанных книг, купленных когда-то в засол и впрок?

*8 февраля*

Тревоги не оставляют этот дом. Анна Васильевна последние два дня чувствовала недомогание. Вчера у нас был местный врач Валентина Николаевна, которая нашла у бедной старушки обычные явления её старческого склероза и предупреждает, что в любой день и час она может незаметно уйти из жизни, настолько она немощна, настолько слабо её сердце. Зоя в ужасе. <...> К тому же и лечение Мальчика не завершено (кстати, он явно выздоравливает). Но всё вместе взятое – настоящий АД на земле. Ни о чём другом не думается, ничто другое не лезет в голову.

Сегодня день рождения Зои. Я сделал для неё книжку, в которой собраны почти все стихи, посвящённые ей начиная 1923 годом, а кроме них и стихотворные надписи на моих книжках. И ещё два новых написал ко дню рождения. Всего сорок четыре стихотворения. Книжка, как всегда, украшена фотографиями, фотомонтажами, аппликациями, так что выглядит очень нарядно. Но дай же бог, чтобы рассеялись как-нибудь наши неожиданные беды!

*9 февраля*

Среди непрочтённых книг на моих полках в Москве в течение многих лет обретались и два тома Эккермановских разговоров с Гёте. Книга знаменитая, но у меня как-то не доходили руки. Сейчас я их дочитываю. Много замечательного.

Прежде всего, кажется мне, неверно, когда на чём свет стоит ругают Эккермана, дабы всячески отделить от него и возвеличить Гёте. Я думаю, что в основном они вполне стоят друг друга и полностью совпадают. Они оба немцы. Оба в достаточной мере оппортунисты и филистеры. Оба благоговеют перед «сильными мира сего»: титулованными, венценосными особами. Это благоговение в крови, в нервах, в мускулах: оно снова и снова стремится найти для себя какое-нибудь разумное основание. И здесь Гёте ничем не отличается от своего летописца. Я думаю даже, что Эккерман меньше предан всяким герцогам и королям, чем Гёте. Всё-таки он уже человек XIX века! Поразительно, как бездушен Гёте на старости лет (75-80). Даже смерть сына не вывела его из себя, даже смерть Веймарского герцога, с которым он был так дружен. Всё проходило мимо старика, и он ещё хвалился своим самообладанием, своей выдержкой. На самом же деле здесь работал обыкновенный у стариков инстинкт самосохранения, которым нечего особенно хвалиться – это низкая часть человека.

Но Гёте сразу вырастает, как только выходит из узко-немецкой области в свои суждения о Наполеоне, Байроне, Вольтере, многих младших современниках – Мериме, Стендале, да и о великих стариках – греках, Шекспире. Как будто он выходит из душной (хотя и дворцовой) комнаты на площадь, открытую всем ветрам и на все четыре стороны света. Работоспособность его, привычка к умственному труду, непосредственно к писанию, организация собственного труда, – всё это поразительно!

Сегодня утром у меня был Твардовский. Мы разговорились о Толстом, о его дневниках написанных на старости лет. Твардовский называет это толстовской графоманией. Конечно, без желания обидеть Толстого (он его обожает).

Нечто похожее, очевидно, можно сказать и про Гёте. Окружённая таким всемирным и отечественным почётом старость неизбежно должна счесть себя, своё слово и свой каждодневный труд священным обязательством перед людьми, перед обществом, перед историей, вселенной, перед господом богом. Совершенно явно, что с Гёте происходило именно таким образом, и он никогда не отказывал себе в удовольствии быть назидательным примером, образцом великого человека.

У Толстого такой претензии нет и в помине. Он проще, грубее и, прежде всего, далёк от всякого кокетства. Но ощущение обязывающей мировой славы, ощущение того, что каждый поступок и каждый жест на виду у всех пяти земных материков, такое ощущение у него, наверно, было, тяготило, но обязывало держаться прямо, не робеть.

Гёте мне всё-таки нравится, даже как личность, как индивидуальность. Нравится его юношеская основа – то, что в нём от XVIII века, т. е. лёгкость, подвижность ума, большая

доля бессовестности, бесшабашности. Этого последнего в нём даже больше, чем в Шиллере. <...> Но это и есть XVIII век. Гёте любил Вольтера до конца своих дней. Может случиться, что излишне рассудительным, чванным «его превосходительством» он считал нужным прикидываться в присутствии таких людей, как Эккерман. А этот последний совсем не был плох. Он простодушен, наивен, добр и весь нараспашку.

«Теперь мне всё кажется историческим, далеки ли от меня события или очень близки, всё равно; сам я кажусь себе лицом историческим, и когда я подумаю, чем бы была моя жизнь в рассказе на манер Плутарховых<sup>15</sup>, то я самому себе кажусь смешным». Написано за несколько месяцев до смерти Губольдту по поводу Плутарха, которого ему читала дочь. Он умер 83 лет, будучи ещё вполне жизнеспособным, трудоспособным и здоровым стариком.

*10 февраля*

Татьяна Гр. Гнедич прислала мне номер журнала “Простор”. Он издаётся в Казахстане и пользуется в Москве почётом наравне с “Новым миром”: есть за что!. В нём её «Венок сонетов», по-моему довольно слабый. И тут же сонет от руки (конечно, посвящённый мне), хоть и лестный, но тоже не ахти какой. В ответном письме я пытался извернуться какими-то мало значащими комплиментами и ещё менее значащими замечаниями, и сверх того посылаю ей двухтомник, но самое интересное в том, что совсем недавно, роюсь в давнишних своих тетрадках и книжечках, я нашёл под датой 1919 года «Венок сонетов» с посвящением «Моей Музе»... <...> Каково совпадение с Гнедич! Похожего рода совпадения часто у меня бывали с самыми разными людьми: с Шенгели<sup>16</sup> по поводу А. П. Керн, с Пастернаком по поводу Робеспьера (что я обнаружил в его книге из “Библиотеки поэта”), с Шершеневичем (даже!) по поводу Самозванца; по поводу того же Самозванца – с Макс. Волошиным<sup>17</sup>.

Конечно, в этих и подобных совпадениях нет никакой мистики, тем более нет злого умысла с той или другой стороны. Просто современники недаром живут в одной духовной ауре. Само время подсказывает разным людям одинаковые имена и образы: Робеспьера, Самозванца и так далее. В этом нет никакого фокуса.

Когда речь идёт о жанре («Венок сонетов»), объяснение сложнее, но и оно возможно. А в случае с Гнедич и со мною объяснение и не требуется, поскольку наши с нею «венки» относятся к двум разным эпохам.

*12 февраля*

Вышел третий роман в трилогии Антонина Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха». Мне прислала его подруга покойного автора, П. Л. Цельшенкер, с которой у меня давнишняя переписка о стихах Ладинского, об их возможной публикации.

Ладинский – очень интересная фигура. С ранней юности до 1955 г. – эмигрант, повидавший весь мир, всё Средиземноморье, автор многих книг лирики, а в конце жизни – исторический романист, весьма учёный и по-своему талантливый, оригинальный, с особым лирическим волнением по отношению к родной истории. Мне думается, что многое в нём было воспитано и возвращено сначала под воздействием Алексея Константиновича Толстого (его «Звезда ты моя, Ярославна» и дальнейшее западничество...), а впоследствии и через А.

Блока. Может случиться, что я напишу хорошую статью обо всей этой трилогии. Такая тема всегда может взбудоражить меня.

Кстати сказать, два ближайших моих обязательства того же статейного плана, – театр Марины и о Брюсове. Сначала мне казалось, что театр Марины – это моё дело. Но едва начав статью, я вдруг (именно – вдруг, внезапно) обнаружил, что пьесы её не нравятся мне! Они – мало серьёзное рукоделье. И если бы не особая судьба автора, если бы не всё трагическое, что связано с её творчеством в целом, тогда к этим пьесам не стоило бы возвращаться.

Но судьба наличествует! Трагическое – вопиёт о себе во всё горло! И тогда решительная необходимость издавать книгу, писать для этой книги вступительную статью, постараться, чтобы статья была убедительна и значила нечто серьёзное, – всё это становится непреложным, неизбежным, и хоть кровь из носу, а пиши! Так в отношении Марины Цветаевой.

В отношении же Брюсова боюсь, что тоже мне не удастся отвертеться. Договор давно уже мною подписан. Да и писать такую статью некому, по совести говоря. Возможные авторы либо на том свете (Лозинский), либо из них высыпался последний песок (Шервинский<sup>18</sup>).

*13 февраля*

<...> За последнее время лучшими прозаиками-стилистами у нас являются два переводчика: Рита Райт<sup>19</sup> и Н. Любимов – первая благодаря своему переводу Селинджера, где именно она первая (до Аксёнова) нашла, изобрела или услышала на улице свойства жаргона современных московских подростков и при этом сделала этот жаргон – средством искусства, приёмом психологического раскрытия и реалистической живописи. Явление очень незаурядное, в своём роде единственное.

Любимов сделал нечто похожее, но в ещё более трудных условиях: в своём переводе Рабле. Это огромная коллекция неологизмов, из коих многие неизбежно войдут в язык, несмотря на их причудливость.

Я думаю, что они оба, Рита Райт и Любимов, больше всех других прозаиков способны создать стиль и стили. Кажется, я знаю, чем это объяснить. Главная, господствующая забота переводчика – язык. Весь его талант, изобретательность, общая культура и, наконец, профессиональное мастерство направлены на то, чтобы в совершенстве владеть родным языком. Если он окажется ремесленником, его язык назовут «переводческим». Таким образом, самими условиями жанра талантливый переводчик обязан в совершенстве владеть языком, иначе говоря, господствовать над языком, а это и значит: создавать стиль.

Нечто похожее происходит и в поэзии. <...> Есть один пример чрезвычайно убедительный! Это Арсений Тарковский. <...> Конечно, он всю жизнь писал свои стихи, но выступил с ними уже будучи вполне зрелым человеком, когда за его плечами было множество превосходных переводческих удач и даже подвигов!

Всё это рассуждение понадобилось мне как присказка, а сказка состоит в том, чтобы определить, что же такое стиль, чем он является в культуре вообще, в культуре языка в частности. Стиль есть результат совершенного овладения своим материалом. В литературе он однозначен совершенному овладению материалом языка, самим языком.

Писатели десятых и отчасти двадцатых годов в России были очень интенсивны в своих языковых поисках. Если ограничиться прозаиками, то в первую очередь называешь, конечно, Андрея Белого, его «Петербург» и рядом с этим его же теоретические домыслы («Мастерство Гоголя» хотя бы). Где-то рядом можно назвать и Ремизова<sup>20</sup>, хотя с моей, вполне личной, точки зрения, Ремизов – явление только реакционное в языке.

За Белым следовали – уже в советское время – многие русские прозаики: Пильняк, Артём Весёлый, Малышкин, даже Гладков (тщился, но плохо знал язык).<sup>21</sup> Это была плодотворная, обещающая, «чреватая» тенденция. Она была грубо приостановлена, оборвана, как и многое другое в развитии советской культуры. Не знаю, можно ли продолжать от той точки, на которой остановилось движение тридцать-сорок лет назад, нужно ли это делать. Важно другое: воля к поискам, утраченное чувство свободы, смелость, а ещё важнее пристальное отношение к языку, его знание, очень серьёзно расшатанны у нас за эти годы...

*19 февраля*

С неожиданной силой надвигаются светлые признаки весны: очень синее небо, очень яркое солнце и свежесть ветренного воздуха. Всё это так знакомо и так болезненно дорого.

Мальчик выздоровел, освобождён из-под стражи в котельной и, не выражая желаний выйти на улицу, странствует по всему дому. <...> О том, что здесь рядом с ним была его семья: родная мать и малютка-дочь, – он, не вспоминает совершенно. Эти существа живут настоящим и заняты исключительно собой.

Стал я разбираться в своих раскопках. Это стихи за 1923-1926 годы. Конечно, я плохо знал чего хочу, чего ищу до первых своих прикосновений к истории, т.е. до «Санкюлота», до «Старика», до «Владыки». Потом были Швеция и Германия, и новизна впечатлений сразу отразилась во всём моем творчестве, включая ритм, словарь и синтаксис. Но дело окончательно выправилось только в тот день и час, когда я начал «Робеспьера» – думаю, что это случилось где-то между 1926-м и 1927-м, именно тогда же, когда Зоя стала моей женой.

Днём у нас были Зоины племянницы. Бабушка Анна Васильевна очень обрадовалась и, видимо, переволновалась. И вот, в конце пребывания девочек, с ней случился удар, первый сигнал в её девятидвулетнем возрасте. Она потеряла дар речи. <...> В таких случаях Зоя стремительно сосредоточивается, собирает всю свою волю и энергию. Это я наблюдал в ней уже много раз в жизни. Её усталость, раздражённость, нервы исчезают моментально, зато в дальнейшем это стоит ей очень дорого.

И если ещё раз оглянуться на минувшие два года, то видишь, что за всё это время у Зои не было ни дня без тревоги. Тут и мой инфаркт, и её хлопоты по поводу моего двухтомника, и моей подписи в защиту Синявского, и непрекращающиеся тревоги за мать, и лечение кошек и ещё многое, что я впопыхах пропустил...<...>

*20 февраля*

С утра приехала Лёля (сестра З.К.Бажановой. – Сост.). Врач, Валентина Николаевна, установила тяжёлый инсульт, предписала постельный режим, неподвижность в течение целого месяца, всякие уколы: камфара и прочее, жидкую пищу. Зоя, Лёля и Дуся по очереди

несут дежурство. Зоя предлагает мне перебраться в Москву на это время, но я ни в коем случае не могу её сейчас оставить.

Я сижу над своими раскопками и продолжаю соображать, прикидывать, переписывать кое-что, а главное размышляю о своём пути: был ли он правилен и был ли у меня вообще какой-нибудь путь. Вещь это первоочередная для поэта, без пути я не поэт, а трин-трава...

*23 февраля*

<...> Я продолжаю свои раскопки в прошлом и сегодня перепечатал рукопись, которую считал утерянной. «Декларацию прав романтика» середины двадцатых годов перепечатал и чувствую, что она почти не устарела и так же «непечатна», как и в те времена. Но поразительно: те же мысли и те же обороты, что сорок лет назад! Не потому, что я беден на мысли, а потому, что верен одному и тому же. И это ответ на предыдущую запись – о пути. Вот он – перед глазами!

Я прочёл необыкновенно яростное и талантливое предисловие Т. Готье к его роману. Роман замечательный, а предисловие и того хлеще. Вот он, настоящий манифест романтиков! Куда там прославленное предисловие Гюго к его «Кромвелю». У Гюго – игрушки по сравнению с остроумным Готье!

*10 марта*

<...> я хотел отказаться от писания статьи о Брюсове. <...> Но стал перечитывать мемуары Белого и нашёл угол зрения на фигуру Брюсова. Вспомнил и мысли о нём Блока: что для него значил Брюсов. Да, наконец, вспомнил и свои встречи с ним в 1920-1921 годах, его отношение ко мне. Тут есть что написать, и я уже чувствую как. Тем более, что с меня требуется немного – портрет; это я могу.

*11 марта*

Внимательно, крайне придирчиво, очень часто раздражаясь или досадуя по мелким поводам, читаю рукопись Левина. За день прочёл только «Двадцатые годы». Повидимому, это самая слабая у него часть. <...> Это непоправимо. Он критикует вещи, которые никогда не были опубликованы и которые я ему доверил! Крайне убог, беден, неточен язык: канцелярский синтаксис, полное отсутствие малейшей попытки охарактеризовать манеру, почерк, стиль, поэтику, не говоря уже о структуре стиха, о стиховой стихии. Тут он совсем глухой товарищ.

Мне есть от чего придти в отчаяние. Книга написана. Зарезать её, значит, зарезать автора, милого человека, работавшего целый год! А к тому же зарезать и себя!! Я пытаюсь мелкой правкой исправить некоторые явные оплошности и неграмотности, но этого, конечно, мало.

С Анной Васильевной всё по-прежнему. Зоя говорит, что она уже несколько раз умирала, то есть и дыхание и пульс останавливались, вокруг глаз были чёрные впадины. Зоя в слезах падала перед матерью на колени и читала отходную молитву. Сейчас больной несколько лучше.

*19 марта*

Выступил по телевидению, сказал несколько слов о Вьетнаме и прочёл стихотворение «В госпитале». Днём зубрил его наизусть и всё-таки раза два сбился. Те, которые слушали, говорят, что эта «сбивчивость» ничему не помешала, даже наоборот.

Немного подвинул статью о Брюсове – она всё-таки пошла! И я уже вполне понимаю, как надо писать. У меня весь план и весь материал перед глазами. В 1968 году Брюсову исполняется 95 лет. Мне странно и страшновато вспоминать о том, что когда я впервые узнал Валерия Яковлевича, он был на четыре года моложе, чем К. Симонов сегодня... И дальше всё идёт на контroversах времени, на исторических перспективах от сегодня в далёкое время. Так хочется сделать портрет в движении, в разных ракурсах. Дело движется, но я пока решил не спешить: всё равно пишется!

Кончил комментировать рукопись Левина и вчера ему отослал. У нас установились отношения реверансные и комплиментарные после некоторой кратковременной вспышки, когда я принёс ему первые замечания. Мне не хочется задевать его, обижать, третировать. Он сделал всё, что мог, сделал самым благожелательным образом. Какой бы книга не вышла, всё-таки она – результат его полуторагодовой работы. <...>

У меня новый, глубокий и ясный, разносторонний и искренний контакт с Лёвой Озеровым. Мне и книга его очень понравилась, и сам он к пятидесятым годам вырос в серьёзного деятеля, борца за настоящую поэзию, в хорошего литературоведа, уже немало сделавшего и продолжающего изо дня в день свою бодрственную вахту. Тут и Пастернак (в сущности, одноклассник в Библиотеке поэта – дело его рук и его энтузиазма), и переводы литовцев, и свои стихи (они становятся всё лучше и лучше), и ещё множество общественных дел, вроде постоянных вечеров поэзии при ВТО... Словом, это – очень хороший и милый человек с характером, с волей, с дарованием светлым и боевым!

Меньше месяца осталось до двухлетнего срока после начала моего инфаркта. <...> Пора начать выступать публично! Для меня отсутствие этого настоящее лишение! Пять несчастных минут на телевидении были, сознаюсь честно, радостью: я почувствовал себя живым человеком. <...>

*20 марта*

В конце месяца Карло Каладзе исполняется шестьдесят лет. Ещё один сигнал непоправимо летящего, необратимого времени! Значит, в 1935 году, когда мы познакомились, ему было 28 лет. Мне казалось, что он моложе. Это был очень стройный, изящный, тёмно-русый грузин небольшого роста. Сейчас он самый толстый из всех моих друзей.

Сегодня утром я уже написал маленькую статейку о нём для Литературной России, попадёт она в номер только 31-го марта, значит опоздает дня на три. <...>

*21 марта*

Два фантастических рассказа американца Кларка – «Остров дельфинов» и «Песни далёкой земли» - не менее лиричны, чем лучшие рассказы Бредбери, в них такой же вольный взлёт воображения, необходимый всякому сказочнику. В этом оба американца чрезвычайно выгодно отличаются от наших осторожно умствующих фантастов. Но

Бредбери острее и глубже Кларка. Уж очень у Кларка безоблачен климат и благополучны герои. Удача так же легко плывёт им в руки, как улов рыбы и бесплатная пища. И если в дело вмешивается любовь, то даже её печальный финал слащав благодаря немедленному выходу на сцену соперника и его мужественно прощающей ласке.

Я стараюсь ближе познакомиться с этим жанром, потому что очень уж явственен его успех у читателей, очень уж велика потребность именно в такой литературе, в меру поэтичной, развлекательной и популярной. Здесь нет и тени пошлости.

*22 марта*

Недели две назад Ст. Лесневский принёс мне свою рукопись с просьбой прочесть и высказаться. <...> Это ещё неорганизованное собрание пёстрых глав: тут философия на темы истории, памяти, совести, надежды, малая толика литературоведения (о Павле Корчагине), очерки о Костроме, Одессе, Сибири (лучшая часть будущей книги), и несколько стихотворений, одно из них было сочувственно встречено Асеевым<sup>22</sup> – к рукописи приложен его отзыв.

Вообще говоря, Лесневский мне очень симпатичен. Я убеждён, что потенциально он талантлив. Но ему, надо найти себя среди многих возможностей. Литературным критиком, порою очень острым (статья об Асадове<sup>23</sup> в «Юности»), он уже сделался в полной мере. Видимо, ему этого мало. Что ж, тем лучше. Но куда ему следует устремиться, я, по правде сказать, не чувствую. Как многие критики и литературоведы (Тарасенков, В. Орлов) он мог бы стать поэтом, если бы не стал критиком. Но так же, как они, Лесневский привык считать себя «не поэтом». Вреднейшая привычка и непоправимая, насколько я понимаю.

*23 марта*

Написал статью к шестидесятилетию К. Каладзе; написал большую рецензию на рукопись Виктора Афанасьева; прочёл рукопись Ст. Лесневского и подробно написал о ней автору; написал рекомендацию в СП для ленинградского поэта Василия Бетаки; значительно двинул дальше статью о Брюсове. Сверх того, пришло немалое количество писем, на которые пришлось ответить. Ныне смиренно прошу у Господа Бога позволить мне продолжать свою работу в том же, им самим установленном ритме и темпе. <...>

*26 марта*

На телевидении царит жуткий беспорядок из-за разросшихся кадров – разных сотрудников, околачивающихся вокруг да около. И работать приходится с жутко обветшавшей техникой, которая на каждом шагу требует ремонта. Короче, я больше трёх часов ждал, чтобы повякнуть перед экраном пять минут. Все остальное время ждал из-за полного беспорядка в работе. И все жалуются на своё бессилие.

По предложению иностранной комиссии я принимал у себя гостя из США, поэта Стенли Кьюница<sup>24</sup>. Что он из себя представляет, сказать не могу, но говорят, что он чуть ли не лучший переводчик-поэт. Он перевёл всю книжку Вознесенского. В общем, произвёл на меня впечатление человека неглупого, довольно культурного, вполне благожелательного.

Я пригласил на нашу встречу бывшую в Москве Т.Г.Гнедич, благо она хорошо говорит по-английски. Кьюниц пришёл с двумя переводчицами: одна специально к нему



прикомандированная, другая из нашей иностранной комиссии, Фрида Лурье, старая моя знакомая. Кипса была за хозяйку – вместо моей родной Зочки, которая осталась на Пахре, у постели матери.

Кьюниц хочет переводить меня. Его это желание или ему рекомендовали в Москве – не знаю. Разговор у нас был интересный, хотя и в самые разные стороны: продолжали с пол-двенадцатого до пол-третьего, большей частью за столом, за коньяком с тостами... Этим днём я доволен: пахнуло временами, которые, казалось бы, канули для меня безвозвратно.

*28 марта*

Написал короткую, в три страницы, статейку-вступление к маленькой книжке Расула Рза в “Молодой Гвардии”. Написал статью-ответ на анкету о языке художественной литературы для журнала “Вопросы литературы”. Анкета составлена из рук вон плохо – образец оторванного от жизни литературоведения. Совершенно игнорируя эти вопросы, я написал о катастрофическом незнании русского языка у наших читателей, у молодёжи, кончающей школу, и в конце предложил журналу посвятить специальный номер именно этим жгучим тревогам, а не заниматься схоластикой. Посмотрим, как отнесётся редакция к моему предложению и к характеру моего ответа, не слишком приятного для редакции!

<...> Все эти дни масса разговоров о Светлане Сталиной (ныне Аллилуевой), оказавшейся теперь эмигранткой<sup>25</sup>. Это действительно событие большого значения, и политического и всякого другого. Давно уже была известна позиция этой трагической женщины, дочери человека страшного и, в конечном счёте, тоже трагического. О ней многое было известно и в основном это хорошее, в её пользу.

Последний её поступок – невозвращение в Советский Союз – предполагает и какие-то дальнейшие её действия и выступления в духе разоблачения не только своего отца, но и того, что делается сейчас в нашей стране. Как она это сделает, неизвестно. Скорее всего, напишет книгу. Можно представить, как за этой книгой уже охотятся всякие любители антисоветских сенсаций. Можно представить себе и то, как охотится за нею наша разведка! И на этот раз, как всегда, мы сядем в скандальную лужу.

Первая реакция правительства была довольно умной: дескать, означенная особа может жить, где хочет, а двери домой остаются перед нею открытыми... И если бы мы смогли остановиться на такой изящной формулировке, было бы очень неплохо. Как никак, она может амортизировать любой поступок Светланы в дальнейшем. Но политика! Политика всегда была и навсегда останется проклятым, грязным и злым гнездом самых нечеловеческих страстей, самых противоестественных решений и действий.

*29 марта*

Читаю биографию Гёте, написанную немцем Эмилем Людвигом. Не знаю, кто он и что он, но, похоже, типичный и безнадёжный немец. Удивительно безжизненное и отвлечённое повествование. <...> Неужели так обязательно при одном упоминании о гениальном Гёте немедленно впадать в напыщенный тон?

*30 марта*

Всё, что я написал вчера о книге Эмиля Людвиг, неверно. Образ Гёте в ней есть, конечно. И эпоха есть, и среда. Скорее всего, мной руководила какая-то предвзятость: дескать, если автор немец, значит его книга должна быть такая, а не этакая. А книга-то как раз этакая! Чем больше в неё вчитываешься, чем старше в ней герой, тем всё интереснее, тем больше живого, хорошо схваченного материала.

*1 апреля*

За два дня в Москве я успел немного: вручил свой ответ на анкету в “Вопросах литературы”, узнал у Воронкова, что надежда моя на машину имеет сейчас новое основание (обещание зам. председателя Сов. Мин. СССР Дымшица). <...> Купил изрядное количество французских книг. Видел себя на экране (был записан ещё неделю назад) и после этого зрелища словно съел клопа – так не понравился сам себе! До полного отвращения. Записал для радио выступление к 60-летию Карло Каладзе. Оно же напечатано в “Литературной России”. Прошло почти два года после инфаркта.

*2 апреля*

Недели три назад я получил от Игоря Поступальского его статью о моём двухтомнике, напечатанную в журнале «Среди книг» и тут же ответил ему письмом, возобновляя нашу старинную, если не дружбу, то хоть приятельскую близость и в том же письме спросил, почему он до сей поры ещё не член СП. Он ответил длинейшим, злым, взволнованным письмом страниц на двадцать. Рассказал о длинной своей тяжбе с польской редакцией Гослита, о рецензиях, написанных там на роман Ивашкевича им переведённый. Написанное в письме во многом, в большей своей части звучало вполне убедительно: незнатный, ничем «извне» не защищённый переводчик действительно часто оказывается не только обиженным в недрах той или другой редакции, но и несправедливо оболганным. Это все мы хорошо знаем.

Поступальский сообщил, что его конфликт с Гослитом, с Косолаповым стал известен в СП и послужил основанием для задержки его приёма в Союз. Когда я стал выяснять, как именно и что именно произошло, то из двух разных источников (с одной стороны от О. Лозовецкого из Гослита, с другой – от Любимова) получил совершенно одинаковый ответ: Игорь Поступальский в своей тяжбе с издательством дважды обращался в высшие инстанции: к Брежневу<sup>26</sup> и в ЦК КП СССР. И проявил себя злобным клеветником и антисемитом.

Тогда я обратился к Ильину и он показал мне копию заявления Поступальского в ЦК, которую Поступальский отправил Косолапову, а этот последний предоставил для ознакомления в Московское отделение Писателей. Поступальский написал: «Я подчёркивал, что подобная безнаказанная система разбазаривания государственных средств (и навязывание читателям зачастую никчёмных, ремесленных переводов – перелицовок, нередко откровенных плагиатов) сочетается у О. Смирновой и Ю. Живовой, на протяжении уже долгих лет, с неслыханной по цинизму и тоже безнаказанной “установкой” на привлечение к работе переводчиков и рецензентов не по квалификации, а преимущественно на основаниях юдофильских (“свой”) и русофобских (“не свой”)...»

Я послал Поступальскому цитату из его же письма. Дал совет: написать в Союз писателей и Косолапову о своём ином теперь отношении к собственным словам, написанным тогда-то и тогда-то. Что он будет делать дальше, не знаю.

А вообще человек прожил очень тяжёлую жизнь, был репрессирован, просидел много лет в лагере, вернулся на волю реабилитированный уже в 50-х годах... Он не очень талантливый переводчик и критик, но он образован, знает несколько языков, перевёл Вилье де Лиль Адана<sup>27</sup> и Кардуччи<sup>28</sup>. Это человек обречённый литературе. Всё произошедшее с ним кажется мне слишком уж характерным: для времени, для среды, когда уж слишком часто «своя своих не познаша» и вокруг ничтожного явления накапливается невероятное количество чёрной и вонючей пены.

В самые последние дни возникло ещё одно печальное событие, взбудоражившее до крайности и семью Матусоских и нас с Зоей. Лену Матусовскую, которую недавно перевели с вечернего отделения искусствоведческого факультета на дневное, несколько дней отправили назад на вечернее. Случилось это так. Профессор Латарев вёл у них на третьем курсе семинар по западному искусству. Группа студентов, к которой принадлежала и Лена, не посещала этот семинар. Оказалось, «вообще эта группа дурная и недисциплинированная» и ещё бог знает какие у неё грехи... А Латарев, старик вспыльчивый, резкий, несправедливый (но деканат его уважает и трясётся перед ним), так вот Латарёв потребовал чуть ли не исключения всей группы из университета. В результате же оказалась наказанной одна только Лена. Когда она показала в деканате справки о том, что дважды болела гриппом за это время, ей ответили: «Знаем, как добывают бюллетени!»

Лена девочка безответная, кроткая и, прежде всего, хорошо воспитанная. Отметки у неё отличные. Приказ о её переводе обратно на вечерий уже подписан. Латарев укатил на месяц во Флоренцию. В семье Матусовских волнение и чувство полной незащитности. Но надо всё-таки сказать, что уже многие друзья пытаются как-то предотвратить несправедливый удар над бедным юным существом, прежде всего, талантливым! Её стихи уже публикуются, недавно она сделала отличный доклад о Федотове на факультете. Вот это дело – ещё одно явление времени, среды, всеобщего одичания, равнодушия к лицу, к личности. И у меня такое впечатление, что вокруг всех нас эта глухая стена непрерывно растёт и становится всё глуше и толще.

Ещё на днях стало известно о том, что группа товарищей Андрея, его сверстников, студентов и аспирантов мехмата, отправилась в очередной поход в Саяны. Весна в этом году бурная, со страшными метелями, снежными обвалами в горах. Десять участников похода погибли в горах под снегом, двое чудом спаслись. <...> Можно представить себе волнение и ужас моей дочери. Она была у нас, сама не своя от одной мысли, что если бы не женитьба Андрея, он обязательно был бы там, на Саянах...

*3 апреля*

Я снова погрузился в свою статью о Брюсове. <...> Кажется, она идёт на лад. находка сегодняшнего дня – чеховский Треплев, сопоставленный с Брюсовым. По всем данным они ровесники. Само различие этих двух судеб или карьер наводит на интересные мысли о русском декадентстве и символизме. <...>

Читаю Барбе д'Оревиля. Давно уже хотел прочесть и только что достал в магазине издание его новелл. Мне решительно не нравится эта самодовольная, самонадеянная и самовлюблённая проза! Всё с начала до конца головная, холодная выдумка. Французы

такого типа прямо противопоказаны нашему беспредельно трагическому и беспредельно умному времени, у нас слишком много своих забот, тревог, поражений и побед, чтобы волноваться по поводу этих маленьких глупостей, мелких наблюдений, ничтожных самообольщений!

*4 апреля*

Вот уже началась седьмая неделя болезни Анны Васильевны и сплошной Зоиной каторги. Паралич, полная немота, прерываемая мало осмысленным бормотанием. Зоя и Лёля тоже обе совершенно измучены своей непрерывной вахтой у постели больной матери. <...> Само явление этого затяжного, некрасивого, унижающего ухода из жизни старухи, живущей уже десятый десяток. Всё это надолго отравляет душу окружающих, затемняет, искажает для них самоё любовь к родной матери. Вместо живого чувства появляется тупое ожидание неизбежного. Вместо жалости – раздражение на самих себя.

*5 апреля*

Моя статья о Брюсове занимает двадцать девять страниц на машинке. Есть пять глав, отсутствует шестая, в которой следует хоть как-нибудь рассказать о Брюсове после Октября, о его последних стихах, которые мне совершенно не нравятся. Конечно, я с самого начала предвидел, что тут ждёт меня осечка и большая неловкость. Снова и снова перелистываю эти несчастные последние стихи Брюсова и тщетно ищу, к чему мог бы как-то прицепиться. Но ни строфы, ни строки такой нет и в помине. И самое печальное (и роковое) заключается в том, что избежать рассказа об этом послереволюционном периоде совершенно невозможно. Это значит вызвать недоумение всех современных читателей ... <...>.

*6 апреля*

Я всё-таки закончил статью! Я нашёл возможность ясно и правдиво написать о последнем периоде и последних стихах Брюсова! Ничем не погрешил против своей совести. <...> Я доволен собою, как редко был доволен. Не потому, что получилось очень талантливое или оригинальное творение, ничего подобного! Доволен работоспособностью своей, ответственностью и перед темой и перед теми людьми, которые доверили её мне. Только об этом и речь.

Если представить себе новое, дополненное издание «Путей поэтов», я твёрдо уверен в том, что включу в книгу и Марину и расширенного Бодлера и, конечно же, Симона Чиковани и ещё, может быть, найду, что включить, а вот насчёт Брюсова так и не ясно: был ли у Брюсова ПУТЬ в том значении, которое придано термину в книге.

*8 апреля*

Сдал в издательство ст. о Брюсове и она имела полный успех, чего я, собственно, и ожидал. Вчера же был у Л. Озерова и он прочёл мне свою статью о моём двухтомнике. Я был крайне растроган. Честное слово, это лучшее, что когда-нибудь писали обо мне. Написано и задушевно и к тому же остро, задорно, с хорошими попытками юмора. И тут

же побочная мысль: как жаль, что Левин – не Озеров, что не Озеров писал обо мне книгу! Озеров талантлив, самостоятелен и умён. <..>

Американская фантастика (Бредбери, Кларк и многие другие) неотразимо привлекательна. Может, это вообще одно из самых привлекательных (и значит, обнадёживающих!) явлений во всей современной культуре. Может быть, более обнадёживающее, чем победы точных наук.

Мне это пришло в голову впервые. С какой свободой, уверенностью, как явно и твёрдо зная, ради чего, вторгаются эти писатели в центральный нерв научной проблемы, гипотезы, даже открытия, чтобы похозяйничать в такой области. О том, что они хорошо осведомлены в чужой области, т.е. великолепно грамотны в науке, я уже не говорю. Это малая часть их удачи, их технического и внешнего блеска. И не в том дело, что они прирождённые популяризаторы и умеют делать простым самое сложное. Гораздо важнее и даже единственно важно значение, которое они придают человеку, его личности, его судьбе. Что есть человек, чем он станет, чем может и должен стать в условиях, ростки которых чувствуются сегодня, – вот откуда возникает интерес этой талантливой и очень разнообразной литературы, её поэзия.

Дело в том, что американская фантастика ПОЭТИЧНА. Народ, который все (мы первые) называют самым практическим и приземлённым, на поверку мыслит, чувствует, воображает и мечтает возвышеннее, гуманнее и благороднее, чем потомки Гёте, Гюго, Андерсена, Шелли, Гоголя... Вот сфинкс середины XX века, над которым стоит поломать голову западным и особенно восточным европейцам!

*10 апреля*

Наконец, приступил серьёзно к статье о драматургии Марины Цветаевой. Она давно уже была на очереди, но до сей поры оставалась совершенно неясной для меня, а кроме того, мешал Брюсов. Сегодня с утра взялся за дело. Ещё и теперь не ясно моё собственное отношение к этим вещам. Мне безумно хочется принять их и полюбить, несмотря на их манерность, изысканность, зависимость от образцов, несмотря на ложность всех этих Казанов и Лозенов.<sup>29</sup> Вернее, на ложность их изображения у Марины: она придала обоим чуть ли не демонически роковой колорит, а на самом деле оба – самые обыкновенные, пошловатые авантюристы, сыны своего века... Куда им до Дон Жуана<sup>30</sup> – как до звезды небесной...

Легче будет говорить об Армадье и Федье: сама Марина стала старше, да и материал в её руках был подлинный, кровавый, мраморный, а не труха камзольного шёлка, не пудра и не парики. Я хочу и, наверно, смогу написать хорошо – не только красноречиво, но и обоснованно, доказав сценичность поэтического (стихотворного) театра, который пребывает у нас уже полвека не только в загоне, но в прогрессивном параличе.

*13 апреля*

<..> Несколько раз был у Воронкова насчёт машины и надежды повысились. Был у Аси Цветаевой по поводу её литфондовских дел, что, вообще говоря, ужасно: к ней хамское отношение со стороны всяких тебекиянов.<sup>31</sup>

Вышел номер журнала “Пионер” с подборкой моих стихов, значит, я дожил и до этих читателей. В нём всего три стихотворения: «Мальчики», «Чёрная речка», «Баллада про верного пса».

Анне Васильевне хуже, она беспокойна, пытается говорить, но ничего не выходит, это ужасно. Зоя и Лёля изнемогают. Впрочем, Зоя была эти дни со мною в Москве и несколько отошла, но приехав сюда, сразу вошла в прежнее состояние. <...>

Ещё был вчера на дне рождения у Андрея. Своих приятелей он не позвал из-за недавней трагедии на Саянах. Андрей мне понравился: он стал живее, милее, разговорчивее. Женитьба его как-то развязала от напряжения. Значит, это было возрастным, как я предполагал: узнавал в нём самого себя, но более юного возраста (при переходе в юность, лет 17-ти, а ему, слава богу, уже 25!)

«Политика в литературном произведении то же самое, что пистолетный выстрел во время концерта». Стендаль

*15 апреля*

Видимо, чтобы получить машину, надо буквально торчать в Союзе, напоминать о себе непрерывно. Это гнусное времяпровождение, но ничего не поделаешь!

*18 апреля*

Наш кот Мальчик вернулся сегодня домой после девяти-десятидневного отсутствия. Его искали тщетно. Доходили к нам разные слухи: где-то он ночевал в сарае, где-то он шушукался с какой-то беленькой кошечкой, где-то пробегал стремительно в неизвестном направлении. Пришло и такое странное сообщение, что его видели убегающим от стаи клюющих его грачей. Словом, мы не знали, что и думать и готовы были считать и этого любимца своего погибшим. И вот он вернулся. Веса в нём треть обычного. Хвост висит жалкой мочалкой. Ничего не хочет есть. Спит без просыпа весь день. Если провести по спине, то сосчитаешь позвонки. Но подробное обследование сейчас и невозможно. Может быть, кто-нибудь и сапогом его ткнул, и кирпич в него бросил, может и собака его тяпнула, может и действительно грачи поклевали. Во всяком случае, этот Дон Жуан платит сейчас и за темперамент и за любовь к бездомности.

С вечера третьего дня я болею: удушливый кашель, насморк, ломота в суставах, – скорее всего, простуда. После горчичников и банок мне гораздо лучше.

Читаю книгу Громова<sup>32</sup> о Блоке. Автор прислал мне её ещё в декабре, но я только сейчас взялся за неё. Это очень большой труд и очень важный – и вообще, и для меня особенно. Книга широкого охвата и просто пламенной любви к Блоку, может быть, даже излишней. Но излишество только увеличивает её важность, её познавательную ценность. Буду писать автору большое письмо.

*19 апреля*

Громов как литературовед и критик тем выгодно отличается от очень многих, что о стихах, об их фактуре, об их сущности умеет писать и лирично и в то же время научно, как филолог. У него своя концепция Блока, своё понимание историзма, философии истории. Вообще в этой книге неожиданно оказалось много важного и совсем неизвестного мне –

например, о ранних вариантах «Розы и Креста», когда Гаэтано был задуман как вождь восстания бедняков, соответственно чему вся расстановка сил, действующих лиц, самого сюжета перестраивалась. Интересные мысли о «Двенадцати», гораздо более въедливый, реалистический анализ действенной части сюжета: Петруха – Катька, Ванька – как вечный Блоковский треугольник (Петруха - Пьеро). Характеры всех трёх, степень индивидуальной обрисовки каждого. Всё это мысли живые, незряшные, не схематичные. Появление образа буржуа и рядом с ним пса безродного. А в дальнейшем и пёс безродный, и тут же Христос. Громов ворошит все эти пласты мысли и воображения и связывает их со всем развитием Блока, с его поисками. Тут всё одинаково важно, а многое сделано по-новаторски. Очень интересны (хотя слишком сжаты) вылазки и экскурсии в сторону других поэтов: Анненского, Мандельштама, Брюсова, Цветаевой, Апухтина<sup>33</sup>. Все они взяты в связи с Блоком и как раз благодаря этому освещены неожиданно и ярко. <...>

*27 апреля*

<...> Единственно хорошее за эти дни – это очерк Марины Цветаевой об Андрее Белом, напечатанный в журнале “Москва” и настолько неожиданный, чистый и талантливый, что просто дальше некуда. Это великолепное произведение. Ещё и потому, что таков герой повествования.

Давно уже (в 1964-ом году, кажется) я поклялся бросить все силы на то, чтобы вышел хотя бы 5-томник А. Белого. И вот – ничего не сделал. Правда, вышли его стихи в «Библиотеке поэта» и задумано издать три тома мемуаров, но 7 лет тянется.

*29 апреля*

Где-то в феврале я записывал свои обязательства по отношению к пьесам Цветаевой. Слова были натужно громкие. Может быть, они требовались, чтобы подхлестнуть себя. Но вот статья написана – она вялая, не слишком искренняя.

И точно так же выглядит всё, что я сейчас делаю. У меня нет стержня, который был в 1963-1964 годах. Надо признать окончательно, что никем иным я уже не могу быть, кроме как стариком; ни на что иное, кроме старости, мне рассчитывать не приходится. И эта старость будет только укореняться, усугубляться в своих признаках. Никаких взлётов со стартовой площадки не предвидится, да и больших удач, побед, достижений тоже не дождёшься. <...>

*30 апреля*

А сегодня перепечатав заново всю статью о Маринином театре, я вижу, что она получилась всё-таки лучше, чем я думал. Получился ещё один гимн в честь неё как поэта. Кроме того, здесь есть об античной трагедии, о старинной тяжбе поэта с театром, о некоторых явлениях нашей жизни в 1920-х годах, о Соне Голлидэй. Всё это необходимо было зафиксировать на бумаге, и я это сделал.

Сегодня светлое христово воскресенье. Погода весь день была странная: ветреная, с короткими снежными метельцами, и гораздо холоднее, чем во все предыдущие апрельские дни. Московский май.

*1 мая*

Болезнь нашей Анны Васильевны, её состояние, перемены в нём, – всё это есть уход жизни, её уничтожение в страшно замедленной съёмке. Вот уже семьдесят дней это длится. Несколько раз она буквально умирала. Сознание возвращается к ней минутными слабыми проблесками, но трудно определить, действительно ли это сознание... Она произносит отдельные слова, фразы ни с чем не связанные, почти ничего не ест, но неизвестно откуда и чем слабый огонёчек пульса и дыхания теплится в ней...

Для Зои и Лёли это страдание невыносимо. Ведь оно невольно, силой обстоятельств, сводится к тому, чтобы пассивно ждать конца. Ничего другого сделать нельзя. Можно обихаживать больную, держать её в стерильной чистоте, следить за этим в четыре глаза. Можно даже ласкать её, напевать ей колыбельную песню, как пела вчера сквозь слёзы Зоя. Иногда это как-то трогает мать, вызывает ответную реакцию смеха, а то и слёз... Но большей частью выходит, что она ни в чём таком и не нуждается.

Странное явление – жизнь! Ощутить до конца её странность можно только на таком или схожем примере. Почему, не достигшее двадцати лет существо внезапно рушится с отвесной крутизны и гибнет, даже не ощутив мгновения своей гибели, а девяностолетнее, слабое прозябание так судорожно и цепко держится за землю? Наверно, миллионы людей до меня задавались таким вопросом.

Можно было бы предположить, что долголетие Анны Васильевны объясняется очень хорошим уходом и всеми остальными внешними условиями жизни, которые окружали её в течение последних 20 лет... Так нет же! В прошлом году умерла примерно в таком же возрасте мать нашей Дуси. А до своей кончины она проболела в тёмной и холодной избе без всякого ухода, голодная и беспомощная, в течение нескольких зим. Значит, условия здесь ни при чём? Так что же?

Может быть, перейдя известный возрастной предел, сама человеческая старость, как бы ни была она утомлена и немощна, всё же напоследок приспособливается к любой форме существования: к параличу, к немоте, глухоте, еле брезжущему сознанию, ко всему, что придётся, лишь бы протянуть хоть немного ещё – в силу неистребимого, нерасчётливого, жестокого инстинкта самосохранения, который на этот раз действует наперекор самому себе с нечеловеческой силой, как раз навсегда заведённая стальная пружина.

*2 мая*

«Поэтом является скорее тот, который вдохновляет, нежели тот, который вдохновлён». Р. Элонард

Если это верно, то я, конечно, настоящий поэт: сколько поэтов посвятили мне стихи!! Больше, чем посвятили их Улановой<sup>34</sup> или даже Сталину!

*3 мая*

Книга «Ведьма» – это настоящая апология колдовства, ведьм, шабашей, сатаны. Мишле связывает все эти средневековые явления с мятежами и домоганиями простого народа, с жакериями, с борьбой против церкви. В изложении безудержный романтизм. Назвать это историческим исследованием нельзя. С той поры, как книга была написана, прошло немногим больше ста лет (1862 г.). История пошла совсем другим путём, гораздо более скучным и, выходит по всему, гораздо менее плодотворным. Да и менее честным!



Мишле ворочает огромными глыбами, делает это легко, как бы играя. Перелететь сквозь столетие для него ничего не стоит. Всё изложение пронизывает восхитительный образ женщины, её бессилия и её власти, даже могущества. Это жена раба, крепостного. Сочувствие к беднякам у Мишле самое экстагическое. В этом отношении он СЫН всех революций XIX века, сын демократии. Я рад, что мне нечаянно попалась эта книга в магазине французской книги, на улице Веснина.

*5 мая*

«Ведьма» в целом ещё интереснее и значительнее, чем мне показалось, когда я дошёл всего только до середины. Надо уметь в такой сжатой книге захватить чуть ли не всю Европейскую цивилизацию, начиная с первых веков христианства вплоть до середины XVIII века. Конец, посвящённый отвратительным процессам XVII и XVIII веков, не сопоставим по силе обобщения с началом книги, но это очень просто объясняется. Конец весь на документах, а начало на отсутствии документов, их заменяет сопоставление фактов, догадка, интуиция. Но в том и в другом случае действует ум прирождённого историка.

Г.Маргвелашвили<sup>35</sup> написал замечательную статью о Мандельштаме в «Литературной Грузии». Просто удивительно, как мог грузин, не так уж идеально знающий русский язык, охватить всю тему Мандельштама, включая сюда и экскурс в Державина, даже в Кантемира и Феофана Прокоповича.<sup>36</sup> Положительно, это лучшее из всего, что написано о Мандельштаме: то самое поэтоведение, которое я считал (по праву) своим изобретением. Я написал ему большое письмо.

*7 мая*

Мы прибыли в Москву. <...> Я сдал в «Искусство» статью о Марине.

Вечером у нас была Кипса и неожиданно пришёл Микола Бажан. Он пробыл весь день на секретариате СП и ругается на чём свет стоит по поводу докладов для съезда писателей. Особенно скверен доклад Г.М. Маркова о прозе – дикая болтовня ни о чём.

Моя задача в ближайшие дни собрать свою французскую книгу и сдать её в издательство. Названа она «Поэты Франции. Панорама XIX и XX веков». Не знаю, прибавлю ли что-нибудь к тому, что сделано. Правда, мне хочется перевести одно стихотворение Кокто, но хватит и того, что есть.

*13 мая*

<...> К Белле приезжал знаменитый директор Пушкинского заповедника Семён Степанович Гейченко<sup>37</sup>, человек симпатичный, видимо, но я ждал – по рассказам других – гораздо большего. С ним же был Юра Васильев, художник, Вот это совсем другое дело. Он талантлив насквозь и младенчески ясен.

Вчера в Москве Лёва Левин показал мне рецензии на свою книгу обо мне. С книгой всё ясно. Какая она есть, такая и будет. Исправлять что-нибудь поздно. Ещё видел Игоря Кравченко, посидел с ним за кофе в ЦДЛ.

Занимаюсь всё это время тем, что усиленно собираю, печатаю, расклеиваю и снова и снова собираю свою французскую книгу. Труд нелёгкий. Книга получается чудовищной величины.

С Анной Васильевной – всё, как прежде. С Зоей творится бог знает что. Она измучена, нервна, издёргана, напряжена, рассеяна, всё забывает. Её состояние сказывается во всём, ежеминутно, и это фон нашей жизни.

*14 мая*

Анна Васильевна скончалась. Зоя и Лёля, не отрываясь ухаживали за матерью, следили за нею всё это время (84 дня) и как раз момент её ухода из жизни пропустили. Но в этом нет ничего странного. Самого «момента смерти» не было, он прошёл внешне незаметным. Она тихо перешла из одного состояния в другое.

На Зою страшно смотреть.

<...> Перед нами множество трудных проблем, задач и хлопот. Надо достать свидетельство о смерти в больнице Семашко за 7 километров отсюда. Потом Москва: Райисполком, похоронное бюро, кладбище. А ещё перевозка тела с Пахры, а ещё забота о том, чтобы родня была извещена. Всю серию поездок мы, конечно, сделаем вдвоём и говорить в инстанциях буду я, а не она. Но для неё это не облегчение, потому что прибавится забота обо мне.

*15 мая*

<...> Вчера у нас были Белла, Россельсы и Матусовские. Зоя в начале дня была в ужасном состоянии, но с приходом друзей отвлеклась немного. Кажется, всю эту ночь она проспала хорошо.

Если бы не наши заботы, пошёл бы сегодня на сбор московских писателей- делегатов съезда. Утром собирают коммунистов, днём – всех вместе. У начальства, как всегда, желание обуздать всяческие «стихии» и сделать съезд тихим, послушным и ничтожным. Сделать из него ещё одну показуху. Эта задача будет выполнена без труда, потому что решительно всем на всё наплевать: никакого желания серьёзно выступить на съезде ни у кого нет. Всё ясно заранее и можно предсказать как по нотам даже и то, кто куда будет избран. Всё это, вместе взятое, очень скверно.

*17 мая*

В мытарствах, волнениях и тревогах мы преодолели одну за другой несколько инстанций, вернее, настоящих вражеских засад, и добыли все справки и удостоверения, какие требуются: справку из больницы, удостоверение из ЗАГСа, справку с кладбища и, наконец, из похоронного бюро, – всё это с трудом, с боем, с ожиданиями.

Анну Васильевну похоронили на Востряковском кладбище рядом с её сестрой Марией Васильевной, умершей в 1963 году, в одной ограде. В полдень у нас в московской квартире начали собираться родные, и все вместе направились на Смоленскую площадь, куда ровно в 1 ч. 30 был подан автобус. В него погрузили гроб, и мы отправились на Пахру. Там уже ждали нас Зоя, Лёля, Вавочка и Коля. Коротко прощались с покойницей и двинулись на Востряково. Туда же прибыли Матусовские и Россельсы.

На кладбище всё было ладно и стройно, без происшествий, по заведённому чину. Можно было любоваться, как спорится работа у могильщиков, как ловко опускают они на канатах гроб, как быстро засыпали его землёй, и уж вырос над могилой холмик. Они так

же быстро выровняли его с четырёх сторон, и самый древний в мире обряд (и, наверно, самый распространённый) был окончен. И ещё один древний обряд был организован на улице Щукина. <...> Это были поминки, как им полагается быть испокон веков, сдержанные и проникнутые чувством важности происходящего, но совсем не лишённые непринуждённой свободы в разговоре, в улыбках...

Зоя была на самой большой высоте духа и полной свободы самовыявления. Как хорошо и достойно она обращалась к гостям с просьбой вспомнить мать, как благодарила за приход, за внимание, за участие, как ей приходилось всё время быть начеку. Все разошлись около 10 часов вечера. Мы на некоторое время остались втроем с Кипсой. Потом ушла и она.

Сегодня утром пришёл Лёня Первомайский. Он приехал на съезд. Мы с ним побывали в Союзе. Оказалось, что все делегаты-москвичи у Демичева в ЦК. Значит, меня эта страда миновала. Тут же я заявил, куда следует, что на съезде бывать не буду за исключением того дня, на котором должен буду выступить по переводческим делам.

*22 мая*

Карикатурный Пленум правления СП продолжался 20 минут. Я общался с Эткингом, Бажаном и В. Орловым. <...>

Зоя приходит в себя благодаря работе в саду и особенно – участию хороших людей: Матусовских, Симоновых, Фиша, и других, кто встречается с нами.

Выступление своё для съезда я сегодня написал окончательно. Оно вышло очень серым, но этот съезд ни на что и не вдохновляет.

*25 мая*

Вчера, после моего двухдневного пребывания на съезде, мы вернулись сюда с твёрдым намерением больше туда не являться. Заранее можно было представить ничтожный характер этого съезда. Но действительность превзошла ожидания. До чего глупо, бездарно и бессодержательно всё, что там говорится и делается. Никто в зале не сидит, все слоняются из угла в угол по этим огромным дворцовым залам или гуляют (несмотря на жару) по Кремлю, любуются на соборы.

Старые друзья или знакомые радуются встрече после более или менее долгой разлуки, но даже эта возможность не веселит, не утешает. Конечно, я могу назвать и Каладзе, и Ушакова, и Бажана, и Лёню Первомайского, и Ремериса, и ещё многих, с которыми очень нежно и горячо расцеловался... И Вл. Орлова, и Дудина, и Слонимского<sup>38</sup>... Но всё это как на вокзале, со взаимным желанием встретиться в другой раз, в другом месте.

Мне надо было выступать. Это нагрузка от переводчиков. Выступление готово. Я всегда мог бы пробарабанить его с трибуны – без волнения, без удовольствия, без успеха у аудитории. Но ждать вызова и, главное, раза четыре в день подниматься и спускаться по этой чёртовой золотой лестнице... тьфу, пропасть! На чорта мне это нужно?! Вот я и уехал!

В течение дня я всё-таки побаивался: а вдруг за мной пришлют машину и повезут выступать на съезд!.. Ура, этого не случилось. Завтра последний день, и выступлений больше не предвидится, прения считаются исчерпанными. Так что эта волокита миновала.

По какой-то волне, не то Би-би-си, не то Голос Америки, передавали, что более топорной инсценировки, чем этот съезд, ещё мир не видел. Вот уж сушая правда.

Солженицын прислал в Президиум длинное письмо (как замену своего выступления) и копию письма – многим делегатам. Это предложение уничтожить у нас позор предварительной цензуры и подробный рассказ о его собственных, действительно ужасных мытарствах, т.е. о мытарствах его произведений, о клевете на него и так далее. Об этом говорят все, и вот оно, единственное важное событие в советской литературе, происшедшее в дни Съезда. Ещё одна трагическая пощёчина всем и всяческим устроителям и их потакателям, имя коим легион.

Непонятно, решительно непонятно, чем всё это разрешится. Неужели в так называемом руководстве не найдётся мало мальски честной и умной головы, чтобы прервать заговор трусливого молчания и подлой нерешительности? Всех гипнотизирует до полной потери сообразительности юбилейная дата. Ещё бы! Целых пол-века, шутка ли сказать! Но чем и как отметить юбилей? Только фейерверком, на который отпущено бог знает сколько денег...

Из иностранных гостей на съезд почти никто не явился, кроме Неруды, Анны Зегерс, Стиля, Гамарра, Карло Леви.<sup>39</sup> Гости из социалистических стран можно не считать. На съезде не было ни Твардовского, ни Эренбурга, ни Каверина, ни Паустовского<sup>40</sup> (правда, он болен). <...> Всё безнадежно плохо. И то, что мне не дали слова, это – малая капля неправды и глупости, которая не имеет никакого значения в этом океане лжи и идиотизма.

*2 июня*

По общему мнению, этот съезд – неслыханный срам. Топорная до карикатуры инсценировка. По словам слушавших, было три приличных выступления: Гончар<sup>41</sup>, Симонов, и Кетлинская<sup>42</sup>, – они ухитрились сказать хоть малую часть правды об угнетении, которому непрерывно подвергается наша литература, о цензуре, об искажении правды, которого требует то одна, то другая инстанция, о конъюнктурности...

Главным и единственным событием Съезда оказалось письмо Солженицына, посланное им в президиум Съезда и множеству делегатов. Множество откликов на это письмо пошло в ЦК. Один коллективный чуть ли не с 80-ю подписями и индивидуальные. Я уже третий день составляю своё письмо в ЦК, стараясь сделать его предельно сжатым.

29-го был вечер, посвящённый Луговскому: поэты читали его стихи. Вечер прошёл хорошо и взволнованно. Я выступал публично в первый раз после инфаркта, но, слава богу, не волновался. Выступал, кажется, не ахти как, но меня хвалили и благодарили.

Раза два видел здесь на Пахре Симонова, несколько раз – Матусовских, Фишей, а вчера ко мне зашёл Кирсанов, и длинный разговор обо всём, что накопилось за дни. Оказалось, что накопилось дурное, тревожное, а много и такого, что можно толковать самым различным образом. Сейчас раннее утро. Я встал около шести часов и решил, что хорошо выспался, но вот сижу и чувствую, что клонит ко сну, глаза слипаются, в голове не то чтобы туман, а просто – пусто.

За последнее время из меня выпало что-то главное, но неопределённое: какой-то острый и прямой стержень, который гонит человека вперёд, не даёт в нужный час передышки, заставляет хотя бы бриться каждое утро... Я понял, что этот побудительный инструмент – самое важное в жизни. Так вот, сейчас он как-то расхлябался.

3 июня

<...> своё письмо в ЦК, я перепечатывал за два дня раз восемь, если не больше. И только сегодня утром сложил вчетверо и спрятал в конверт, чтобы поехать в Москву и сдать в экспедицию на Новой площади.

Кроме того, писал все эти дни статью о поэзии для “Литературной Газеты”. Как же это случилось, что я всё-таки писал для этой газеты? Из меня вытянула согласие Ирина Янская (там есть такая сотрудница) слёзной мольбой и ссылкой на то, что её пошлют в Пушкинский заповедник, если она раздобудет мою статью.

И вот статья вся в развалинах, как полная неудача. <...> У меня нет для неё живых мыслей, нет нового и неожиданного взгляда на предмет. Живые и новые мысли не являются по первому зову. Они вообще капризные особы и лучше уж не тревожить их зря. Я попробовал не сдаваться, и сегодня начал статью совсем заново и опять обнаружил пустоту внутри себя. Стал перечитывать собственный дневник за три года, но даже оттуда уже вытянуто в другие статьи всё, что заслуживало.

Вообще же эти дневники – занятный документ, особенно когда я отвлекался от своей особы и рассуждал об окружающем, о прочитанном, о нашем обществе, даже не столько рассуждал, сколько регистрировал события большие или малые. <...>

8 июня

Пора, наконец, приняться мне за вторую главу «Повести временных лет». Всё-таки продолжение именно этой вещи по-настоящему необходимо мне. Раньше я начал было колебаться, но к чёрту колебания, пора взяться за дело.

Я перешёл то, что уже написано во второй главе, и вижу, что остановка была совсем не случайна. Остановился я на трудном и на важнейшем месте. Если я осилю этот перевал, дальше пойдёт, как по маслу. Тут – шестнадцатый, семнадцатый годы, всё накануне взрыва и рядом – мировая война. <...> Горе в том, что, пища начало, я не ухитрился взять разбег. И понял я ещё одну нехитрую штуку: нельзя отходить от ритма первой главы. Как только я заново включаюсь в него, дело идёт на лад. <...>

10 июня

Летом 1953 года, под Киевом я написал нечто вроде своих мемуаров. Оказалось, что на машинке они составляют 350-370 страниц. Между тем, рукопись охватывала целых 25 лет – с 1916 по 1941 гг. Это значит, что я написал <...> и запомнил постыдно мало.

В течение прошедших с тех пор 14 лет (ого!) я много раз прикасался к написанному, кое-какие клинья вшивал в него, наподобие Тришкина кафтана, раздумывал, как быть дальше, переписывать ли заново или оставить как есть до «после смерти». Или вообще плюнуть, подвергнуть погребению среди прочего хлама, растущего в разных папках, на разных полках...

А между тем, куски из этой рукописи перекочёвывали в другие мои вещи: в статью о Блоке, в статью о Марине, о Тициане Табидзе и т.д. <...> рукопись была в руках у Льва Левина и он очень существенно ею воспользовался, забрал из неё немалые куски.

И снова стоит проблема: как быть с этим материалом? <...>

22 июня

Получил письмо от Али Эфрон с интересными и важными замечаниями по статье о «Театре Марины». Получил письмо от Солженицына (а прежде я послал ему копию написанного мною в ЦК).

Читал всякую западную фантастику (с удовольствием и завистью) и книгу Бахтина о Рабле.<sup>43</sup> Грандиозная эрудиция по части всей средневековой литературы и совершенно новое прочтение знаменитого романа. «Новое», если верить Бахтину, который противопоставляет свою точку зрения всему, что было написано о Рабле за четыре века. Во всяком случае, много интересного и не столько правильного, сколько в высшей степени неожиданного и обещающего.

Книга того же Бахтина о Достоевском (вышла несколько лет назад) <...> ещё неожиданной. В нём как в исследователе есть какое-то священное безумие. Он увлечён идеей мирового, чуть ли не космического, карнавала и к этой идее сводит всё, к чему ни прикоснётся. Если в отношении Ренессанса, как наследника средних веков, т. е. в отношении Рабле, Шекспира и Сервантеса у Бахтина дело обстоит сравнительно просто – он тут купается в открытиях, догадках, гипотезах, – то с Достоевским гораздо сложнее. Но как раз эта сложность и увлекательна для читателя-профана, каким являюсь, например, я.

23 июня

<...> о чём сейчас приходится думать, тревожиться, отчасти и негодовать, это наша позиция в связи с событиями на Ближнем Востоке: арабы и Израиль. Судьба этого еврейского государства (должен сознаться) волнует меня очень мало. Однако поставить рядом арабские государства – Египет, Сирию, Иорданию, Алжир и другие иже с ними – и крохотный, величиной в наше Черноморское побережье, Израиль, который неожиданно показал и отвагу и военную силу – стоит их поставить рядом и сразу ясно, что Израиль, конечно, не агрессор и не может быть агрессором. И если внезапно эта крохотная армия наступает и бьёт наголову арабов, значит, прежде всего, что евреям просто некуда деваться, что они наступают затем, чтобы спасти себя, свою национальную целостность, а кроме того значит, что арабы теснят и терроризируют это крохотное государство, но воевать абсолютно не умеют... <...>

Между тем мы (Советский Союз) взяли на себя странную задачу разжигать ярость арабов и в известном смысле действительно спровоцировали этот опасный конфликт. А теперь, когда израильтяне оказались победителями и находятся в выгодном положении, мы бьём отбой, требуем, чтобы они отказались от своей победы. Всё это происходит на Ассамблее ООН, созданной по нашему требованию, причём Ассамблея, видимо, поддержит нашу резолюцию, наши крайне несправедливые требования и в результате очаг войны не будет потушен. <...> мы можем раздуть «Мировой пожар» почём зря, ради неизвестно каких интересов, которые, во всяком случае, не наши интересы. В конечном счёте, те же арабы заплатят нам самой чёрной неблагодарностью.

<...> То, что делается сейчас в Азии и в Африке, во Вьетнаме и в Греции, на улицах Нью-Йорка, Парижа, Москвы и т.д. – всё это один многозначный, многоликий мир, с возможностью многих сотен догадок, объяснений, отмычек. Я не разбираюсь в нём. У меня нет данных, нет уверенности в какой бы то ни было информации. Если наши газеты лгут непрерывно и беззастенчиво, то тем же самым занимаются и Би-би-си и Голос Америки и

все остальные голоса на любых коротких волнах... Чем больше таких разных информации, тем меньше доверия к ним. В сущности, все они, взятые порознь и вместе, так или иначе обречены лгать. Ложь – их хлеб, их инструмент, их привычный климат. Они и сами точно не знают, когда и в чём лгут. Машина запущена и находится вне воли тех, которые её изобрёл.

24 июня

Когда мы говорим «моральный», «идеальный», «социальный», «реальный», всё ясно. Смысл этих прилагательных прост, однозначен. Они убедительны. Но стоит сказать: «моралистический», «идеалистический», «социалистический», «реалистический», – всё летит кувыркком, возникают бесконечные дискуссии. Предмет спора тонет в абстракциях, сыплется как песок и течёт как вода. С понятием «национальный» дело обстоит ещё хуже, если только вспомнить его производное – «националистический». Разница между двумя последними тоньше волоса, но о ней будут дискутировать ещё целое столетие.

Наш язык (не только русский, но, очевидно, все современные языки) терпит бедствие от того, что он перенасыщен обозначениями абстракций, безвкусных, ничем не пахнувших, невесомых, да и глазами их не узришь. Эти обозначения размножаются в языке бесполым путём. Это напоминает размножение бюрократического аппарата. У каждого начальника («национального», «идеального») должно быть по два зама: «националистический» и «националистский»... Эти заменители ещё хуже, чем иностранные слова, засоряющие язык. Сюда же относятся всякого рода «мировоззренческий», «управленческий» и прочая мелкокалиберная сволочь, от которой меня тошнит.

«Оборонческий», «учрежденческий», «передвижнический» – всё это «неологизмы» эпох, когда в отношении языка медведь наступил на ухо всем людям без различия. В России эта эпоха торжествовала в 80-х и 90-х годах (имеется ввиду XIX век. – Сост.). Даже Чехов был заражён этой глухотой. Отсюда его «роскошные» женщины и прочая. Наше время поразительно глухо. Все критерии чистоты, богатства, гибкости и силы языка либо снижены, либо безнадежно утеряны. Газеты – рассадники неграмотности. «Сейте жатву» ещё невинный цветочек газетного языка. Не хватает терпения и выдержки на то, чтобы собирать такие коллекции. Мне давно уже хочется снова писать о языке. Но куда? В “Литературную Газету” нет смысла, потому что она виновата в порче языка больше всех.

25 июня

Вчера я получил письмо от жены Даниэля.<sup>44</sup> Она пишет ужасные вещи, которые тюремное, лагерное начальство продельывает с ним. Его запирают в карцеры, одевают наручники, отнимают у него (силой) средство против комаров, лишают пайка, сокращают сроки свидания с женой. Словом, бесконечная цепь противозаконных издевательств, оскорблений, цель которых может быть только одна: извести человека до смерти или довести до последнего отчаяния. Письмо направлено по всем возможным адресам и, очевидно, отдельным писателям. <...> Я не знаю, как с этим быть, и пойду сегодня к Твардовскому посоветоваться.

<...> я писал, переделывал, переписывал ещё и ещё своё письмо о Солженицыне и, наконец, послал его через экспедицию СП в ЦК на имя Демичева. Сделал это, ни на какой отклик не надеясь, руководствуясь мыслью о том, что «капля точит камень». <...>

Получил письмо от Солженицына; извещает, что копия моего письма в ЦК дошла до него.

28 июня

Письмо жены Даниэля вместе со своим коротким письмом я послал Андропову, новому председателю Комитета Гос. Безопасности. На успех, конечно, не приходится рассчитывать. Но ещё и ещё раз: капля точит камень. Этим руководствуйся во всех подобных поступках.

Третьего дня вечером были у Симонова и его матери, Александры Леонидовны, которая при каждой новой встрече становится всё взбалмошнее, суматошнее и, прямо сказать, глупее. Это старость, печальная и характерная.

Был ещё кинорежиссёр Столпнер. Симонов, как всегда, умён, остёр, спокоен и до краёв полон собою. Удивляться этому и возражать на такое свойство человека не приходится. Предварительно следовало бы побывать в его шкуре! Изволь в иных обстоятельствах при ином характере нести всю эту кучу труда, обязанностей и ответственностей, которые он поневоле тащит на себе безропотно и всегда с достоинством.  
<...>

29 июня

В статье Льва Озерова обо мне, напечатанной недавно в «Литературной России», вся первая часть посвящена «триаде: приём – манера – стиль». Сознаюсь, что подсказал автору это рассуждение. Лев Адольфович очень хорошо подхватил тему и развил её правильно. Я не собираюсь касаться того, какое отношение всё это имеет ко мне лично: здесь я не судья, а обвиняемый или один из многих примеров.

Но вот на что следует обратить главное внимание. Превращение приёма в манеру – вещь несложная. Она равносильна приобретению навыков, привычек и самоограничению в интересах мастерства. И дальнейшее – превращение манеры в манерность – можно представить себе как уход от целесообразного самоограничения в самодовлеющее пользование манерой, возведение её в тот или другой **культ**. Трудность возникает при определении того, как и почему на основе манеры возникает, вырабатывается и утверждается **стиль**.

Прежде всего, что такое стиль? Является ли стиль индивидуальной особенностью художника или он присущ эпохе? В архитектуре ответ ясен. Но можно ли представить себе, что этот закон распространяется на все искусства? Как обстоит дело в музыке, в театре (театр особенно интересен как искусство по своей природе коллективное!), наконец, в литературе? Правы ли французы, что «стиль – это человек»? Как отграничить стиль от направления, особенно в литературе? Наконец, самое важное, когда кончается манера и начинается стиль? Да и связаны ли между собою они так неразрывно? Почему человек решается в иных случаях утверждать категорически и даже априорно: «Это не мой стиль, не в моём стиле»? Откуда у него берётся такая уверенность? Иначе говоря, может ли стиль оказаться сильнее, чем художник, и диктовать ему безусловное послушание? Обо всём этом стоит подумать <...> искусствоведам и особенно литературоведам



30 июня

Когда в течение почти двух недель я раз десять или двенадцать повторял и перерисовывал свой рисунок Робеспьера и Горгоны, в сущности рабски копируя самого себя на белой, серой и чёрной бумаге, когда я делал эту нецелесообразную работу, можно было самоутешаться: дескать, ищу совершенства. На самом деле, это вздор, враньё! Я ничего не искал. Мной руководила слепая инерция, только она одна. В таких случаях нельзя чем бы то ни было обольщать себя, потому что путь мелких, несущественных улучшений никогда не приводит к добру. Это путь дурной бесконечности.

Мои соображения не новы и я много раз в жизни думал об этом, но на маленьком примере «Робеспьера», благо это не поэзия всё-таки, а рисование, легко ухватил существо всей этой антиномии: усовершенствование – улучшение. Как они противоположны друг другу, как легко принять второе за первое. Совершенствоваться – это значит ни на чём не застревать и всегда делать новое.

Бывают обмолвки мысли и опечатки памяти. С Достоевским произошло нечто подобное в его знаменитой речи о Пушкине, когда он процитировал: «Но я другому отдана и буду век ему верна». У Пушкина же сказано: «Но я другому отдана; я буду век ему верна» (строка из поэмы «Евгений Онегин». – Сост.). На этой одной искажённой цитате построена у Достоевского вся концепция добродетельной и идеальной Татьяны. Это опечатка самой памяти, которая невольно, непроизвольно, бессознательно отредактировала Пушкина по своему. Очень поучительный пример!

1 июля

Стиль – очень многосмысленное слово, мало уточнённое как термин. Оно неясно и расплывчато как всякая туманность. Стилем можно назвать манеру одеваться, личную интонацию. Стилем можно назвать ампи́р и рококо. Вот уже две крайности, отстоящие на тысячи километров одна от другой. Я думаю, что обиходно-разговорное расширение термина вплоть до манеры (одеваться, выражаться, класть мазок, произносить знаменитый монолог и т.д.), лишает возможности определить термин в его ограничивающем и правильном значении. <...> Если стиль и определяет человека, то человек не определяет стиля. Он есть выражение в той или иной степени стиля своего времени: Шекспир, Рабле, Сервантес – ренессанса, Мольер, Корнель – барокко и т.д.

<...> Речь идёт о тех затруднениях, которые испытывает сам термин в условиях дифференцированной и дробной культуры (с начала XIX века). Такая дробность в области искусств дала знать о себе уже в явлении романтизма, который, казалось бы, мог выработать свой стиль, равный стилю классицизма (в поэзии, в музыке, в живописи...). Но этого не случилось. Осколки и прах классицизма не стали стилем. Они только затуманили картину.

Например, ампи́р (как раз в архитектуре, которая упорнее остальных искусств добивалась создания общезначимого для эпохи стиля) стал одним из запоздавших на 50 лет обломков классицизма. Но и ампи́р был одинок в своей собственной эпохе.

Дохнуло чем-то свежим, по-своему эпохальным, в 1920-х годах в конструктивизме, который всё-таки начинался у нас (башня Татлина), но быстро эмигрировал на Запад и привился в разных странах по-разному, с разной степенью блеска и новизны. Это зависело не от таланта строителей (таланты всегда были избыточны!), а от богатства заказчиков, от их смелости.

Если я невольно перешёл на разговор об одной архитектуре, то именно в ней явление стиля наблюдается в чистом виде. Стиль не зависит от данного художника, от его эмпирической личности, но его глоткой трубит эпоха, время. Это и значит преодоление манеры (личного) в стиле (сверх-личном).

Если быть исторически строгим и точным, то только таким образом следует трактовать многозначный и туманный термин. Я вижу в этом большой выигрыш для всей нашей теории. Не хочу называть её эстетической, ибо эстетике грош цена, пока она не включает себя в общую историю культуры. И тут эстетике надо смиренно и честно учиться накапливать материал и не быть раздавленной этим материалом, так что трудность получается двойная <...>.

*2 июля*

Несмотря на наше бегство от общества, вчера вечером приехала Майка. И как ни странно, мы страшно обрадовались. Она только что из Тбилиси, спешила ко дню рождения Луговского (ведь мы родились в один день). Привезла подарки не только от себя, но и от Марики Чиковани. И в том, что только она одна явилась вчера часов в 9-10 вечера, была и символика, и неизбежность, и праздничность!

Подарки очень красивые. От Майки – медная дощечка с женским барельефным профилем (древнее грузинское искусство, заново воскрешённое молодыми модернистскими художниками), а от Марики – чёрный чугунный двойной подсвечник, тоже работа молодых. И, конечно, цветы привезла.

Марика жива, интенсивно лечится, не умирает! Значит, есть какая-то возможность периодического лечения, нелёгкого, даже мучительного, кажется, но бедная больная идёт на всё, борется за жизнь, за каждый день и час кислорода и света в окне...

Привезла Майка и две новые книжки Симона: стихи последних лет (болезни и слепоты) и статьи по литературе: там и грузинские классики, и Тициан, и Лермонтов, и Маяковский, и Есенин, и Заболоцкий, и М. Рильский<sup>45</sup>. Я успел только проглядеть эту вторую книжку, но сразу видно, что это живая речь, свой взгляд на жизнь и поэзию.

Книга Дани Данина о Резерфорде (пишу о ней, хотя и не закончил её) – очень замечательная книга. Сначала мне показалось, что автор излишне болтлив и несколько кокетлив. Действительно, на первых страницах шестисотстраничной книги это бросается в глаза. Но в целом книга очень хороша. Именно так следует вести жизнеописание великого человека в молодогвардейской серии. Следует разносторонними и разнообразными способами показывать и недюжинность человека, и его личное обаяние, и силу его воздействия на других людей, не говоря уже о своеобразии его мышления. Всё это здесь имеется в избытке.

Как раз жизнеописания великих физиков XX века являют самый благодарный материал для таких книг и особенно для таких читателей, как мы. Оно – наш хлеб насущный, в какой бы области мы ни работали. Здесь одинаково важно всё: и самоуверенность Резерфорда, и его скромность, и его победы, и везение, и гениальность, и что важнее всего, – это огромное количество людей, соприкасавшихся с ним – учителей и учеников.

Даня – прирождённый популяризатор. Это редкая разновидность дарования, если говорить о популярности всерьёз, без журналистики и без вульгарности. Сила Дани в том, что он не ослабляет требования к читателям. Перед ним другая опасность – кокетство

эlegantностью своего изложения, кокетство своей авторской позицией, отсюда неряшливая болтливость, «выбалтывание» секретов писательской хитрости. В известной мере это просто дурной тон, идущий откуда-то очень издалека: от Стерна, Гофмана, даже от В. Шкловского... Словом, нечто старомодное и наносное. Но я заметил его только на первых десяти страницах толстой книги.

<...> В течение двух дней сидел, спокойно читал увесистую книгу, написанную к тому же хорошо мне известным и всегда милым человеком, читал, спокойно знакомился с героем книги, знаменитым англичанином Резерфордом и вдруг, дойдя до 1914 года, вскочил из-за стола и написал в дневнике более десяти страниц на одну из генеральных тем собственной жизни и мировой истории!

*3 июля*

То, что происходило в развитии жизни, во всём естествознании в течение первой половины века, чаще всего называют «драмой идей», – кажется, с лёгкой руки Эйнштейна. Так оно и было. Драма заключалась, очевидно, в том, что в сознание людей с большим трудом, преодолевая недоумение и сопротивление косной мысли, внедрялись новые представления: о микромире, об относительности времени, о волновой природе частиц, о квантах... Всё это заставляло кружиться головы и терять почву под ногами – у самых умнейших и самых изощрённых в логике людей, у самых, в конечном счёте, любознательных.

Возник единый поток: революция в естествознании шла параллельно с революцией в искусстве: Пикассо, Джойс, сюрреализм. Это – явления одной природы, одной направленности. Само собой разумеется, рядом с искренним, серьёзным и глубоким, стараясь не отставать, шагало и шарлатанство, вольное и невольное. Обо всём этом не следует писать размашисто большую картину огромного периода в развитии культуры, тем более не следует, что сам период, может быть, не кончился, и все мы, включая и молодых, так или иначе его участники.

Картина оживает в подробностях, в отдельных жизнях и судьбах, в конкретном. Иначе она легко превратится в схему и в публицистическую дешёвку. Важнее всего найти ракурс, угол зрения и уже твёрдо на нём стоять. Постоянство и непрерывность угла (точки) зрения – вот единственный способ разглядеть что бы то ни было. <...>

*4 июля*

Кирсанов пишет интересную, как всегда, вещь: судьба дельфинов, всемирный потоп, Ноев ковчег, на который дельфины не были допущены, и они вынуждены были превратиться в рыб. Замысел по-своему грандиозен и философски, и исторически. Масса блестящей поэтической и стихотворной (языковой) выдумки. В сущности он только один сейчас способен на такую острую и хитрую выдумку. Я его очень люблю и ценю. И не тшусь с ним тягаться в таком соревновании. Человек абсолютно творческий. У него есть в избытке главное для всякой работы – лёгкость.

*5 июля*

Вечером зашла к нам Белла. С нею кипрский писатель Леонидас с женой поэтессой и наш Евгений Храмов<sup>46</sup>, тоже с женой. Посидели немного у нас за коньяком, полюбовались, как водится, Зоинными работами. Потом вся компания вместе с нами двинулась к Нагибиным. В конце вечера читали стихи. Белла читала новое, мне ещё неизвестное – великолепные полусатирические, но весьма ядовитые стихи об обеде у мужа и жены, литературоведов. И Храмов что-то прочёл, и киприянка – перевод, сделанный мужем, а он еле-еле говорит по-русски. Я прочёл старое «Я люблю тебя в дальнем вагоне» и, конечно, «Балладу о Чудном Мгновенье».

*6 июля*

Вот уже больше недели я стараюсь изобразить Дон Кихота на серой бумаге и всё время верчусь вокруг одной темы: Дон Кихот сражается со всякого рода чудищами, призраками. Поначалу я надеялся, что выйдет ещё одна иллюстрация для книги Левина, но отошёл от этой мысли: назначения у этих рисунков (их три штуки) нет. Видимо, это попытка неудачная, обречённая. Но к рисованию меня так или иначе тянет, а это – верный признак, что с поэзией плохо. Да здесь и не нужны признаки. Я сам вижу, что плохо: не пишу, и баста.

*9 июля*

Вчера я был на Истре у моей дочери Кипсы и в течение нескольких часов общался с её обожаемым семейством, с Андреем и Катюшей, с её собаками. Поехал, потому что 6-го этого месяца исполнилось ровно 25 лет со дня гибели Вовы. Тогда ему было 18 лет и десять месяцев, а сейчас – сорок три-четыре года. Как ни напрягаю воображение, но представить этого смуглого, красивого, стройного, скромного солдатики и мальчика сорокачетырёхлетним мужчиной не могу. Тем более, что 25 лет хорошо потрудились и стерли его реальные черты, заменили родной и близкий образ чем-то общим, смутным, почти отвлечённым.

К тому же я часто ловлю себя на том, что Вова и Андрей, мой сын и мой внук, как-то внутренне слились в одно целое. Во всяком случае, во сне это случается постоянно. В этом есть какой-то оттенок измены моему сыну. И всегда кажется после такого сна, что я чем-то провинился перед ним, ещё раз провинился. Потому что чувство вины (не задержал, не защитил, не заслонил своей грудью...) всегда сопровождало любую мысль о нём, любое воспоминание.

*10 июля*

Вчера приехали киношники: девушка редактор и парень кинооператор, – с тем, чтобы договориться насчёт записи в фильме, посвящённом международной солидарности. В нём будут участвовать и наш патриарх, и папа Павел VI, и де Голль, и Роберт Кеннеди.<sup>47</sup> Мне предстоит сказать несколько слов о войне и прочесть какое-нибудь стихотворение. <...> Я решил прочесть «В моей комнате».

Но вот уже половина двенадцатого, они должны были уже быть тут как тут, а никого нет. Между тем, их предварительные приготовления к съёмке занимают чуть ли не три часа. Так что управимся к 4-ем часам, если они явятся скоро. А если позже, то и до вечера не закончим!...

Третьего дня, только вернувшись сюда с Истры, я сразу попал к Нагибиным. Там были болгары: Камен Калчев, Младен Исаев с женой. Белла принимала их и весело и радушно после своего собственного с Юрой длительного путешествия по Болгарии. Была жена Эрдмана Инна, которая очень славно и музыкально поёт под гитару, хотя репертуар у неё слишком непривлекателен.

Ну вот киношники явились, опоздали всего на 20 минут, всё в порядке.

*11 июля*

Они пробыли до шести часов вечера. Последний час уже сидели на террасе за столом. Водка, картошка и окрошка, больше ничего в доме не было.

На телевидении используется примитивная, жалкая техника, которая зазря изнуряет и изнервляяет людей, мастеров своего дела, преданных ему не за страх, а за совесть, энтузиастов. Если вся эта несчастная съёмка пятиминутной сценки потребовала пяти часов приготовлений, если при этом понадобились два мощных автобуса (один специально для записи звука), если сверх этого в дело был вовлечён наш поселковый электротехник, подключавший всю эту махину к трёхфазному току (электрический столб), если мешали солнце, звуки самолётов, пес Боцман, стук из-за ремонта в нашем тамбуре, если не всегда организованно и слаженно работали бедные молодые люди, – то всё это вместе взятое представляло из себя хорошую модель ада на земле. И я себе легко могу представить, что происходит на съёмках больших фильмов с актёрами в гриме и в париках, которые вынуждены раз по десять повторять какой-нибудь ничтожный, проходной эпизод, а тут, глядишь, солнце зашло, а тут дождь пошёл, а тут заело, а там разъехалось и т.д.

Но что говорить об одном несчастном кино, когда с такими же затратами времени, человеческих сил, нервов, крови строятся дома, воздвигаются плотины, перекрываются реки... В грязи, в поту, в ссадинах, в ругани, в озлоблении друг на друга и на самого себя...

Нет, человек – существо замечательное. Назвать его ангелом – мало. Человек велик и величествен именно в такой неразберихе жизни и труда, когда, несмотря ни на что, он безропотно делает своё дело, а большей частью даже не своё, а порученное, навязанное, чужое дело. Всё ему нипочём и море ему по колено.

В чём же главная трудность всего этого громоздкого предприятия? В том, что волокли автобус вместо того, чтобы привезти портативный транзистор, который мог бы обеспечить синхронность изображения и звука. Это вполне возможное улучшение и упрощение работы, но в нашей кинематографии оно – мечта несбыточная, как рассказали наши гости. Будь у них в наличии транзистор, всё кончилось бы в течение часа-полтора, и вместо восьми приехавших человек понадобилось бы от силы три.

Вадим Шефнер<sup>48</sup> прислал мне свою книжку. Книжка замечательная и по многим признакам близкая мне, близкая всему, что я делаю и о чём думаю в последние годы. Но удивительное дело: несмотря на современность и своевременность многих стихов, лучшие в книге как раз те, в которых присутствует память о войне. Так произошло со всем этим поколением. Примеры многочисленны: Межиров, Луконин, С. Орлов<sup>49</sup>... и вот – Шефнер.

12 июля

С 1962 года, не зная друг друга, мы переписывались с ленинградским учителем Гольдичем Анатолием Соломоновичем. Я в глаза его не видел, а он видел и слышал мои выступления в Ленинграде. И вот вчера он явился на Пахру с женой. К сожалению, после приезда киношников в доме было хоть шаром покати, а тут ещё газ не работал, но всё-таки кое-как накормили этих гостей. <...>

Он милый, скромный человек, прекрасный учитель русского языка, трёхлетний лауреат городского конкурса по сочинениям старшеклассников, энтузиаст русской поэзии. Давно пропагандирует среди своих учеников мою поэму «Сына». А однажды даже провёл среди школьников анкетный опрос по поводу моих стихов о Пушкине. Ему 57 лет. Жена – его бывшая ученица, значительно моложе мужа. Оба подвижные люди, легко путешествуют по стране, где только ни были. Он привёз мне в подарок кучу книг: два альбома ленинградских фотографий (очень хорошо сделано!), «Гептамерон» Маргариты Наваррской и впридачу толстый том «Тайная война» – о шпионаже со времён Адама и Евы вплоть до Маты Хари<sup>50</sup>.

<...> Решение насчёт моей машины уже имеется, но самих машин в магазине не имеется. Будут на следующей неделе. Это узнал Федин. Он в таком же положении, как и я и уже побывал в том магазине, где-то на Сукином болоте, уж не знаю, где это сучье место. <...>

16 июля

Был Твардовский. Он, слава богу, довольствуется слабым болгарским вином вместо водки и благодаря этому разговорчив и социабелен. Но настроение у него из рук вон ужасное по причинам вполне понятным и общим для всех нас. В сферах высшего руководства творится нечто несообразное; полное нежелание решать что-либо, отвечать на чьё бы то ни было требование, запрос, обвинение, упрёк. Это паралич государственной власти, её сознательное запирательство, которое можно понять только как попытку выиграть время. Это похоже на Блоковское гениальное

То роковое ВСЁ РАВНО,  
Которое подготавливает  
Чреду событий мировых  
Лишь тем одним, что не мешает...

<...> нашему поколению такие события стоят поперёк горла! Что бы мы ни предвидели в будущем, всё равно окажемся в положении гегелевских пророков, предсказывающих ещё один четырнадцатый год... ещё один семнадцатый... ещё один двадцать девятый... ещё один тридцать седьмой... ещё один сорок первый, сорок девятый, пятьдесят третий... и пошла писать губерния!

Твардовский удивительно мил, сердечен и беспредельно несчастен.

23 июля

Дописывая вторую главу, я только теперь, в конце этой длинной дороги, понял, что тема главы – гибель целого мира, целой эпохи. И что если эта тема не проглядывается в самом сердце вещи, значит вещь вообще не удалась. <...>... стараясь быть строгим и

объективным, перечёл главу и, кажется, она стоит прочно на собственных ногах, но имеется один изъян: Вахтангов появляется слишком неожиданно и он мало обрисован, вернее, обрисован противоречиво: сначала как безошибочный руководитель, а потом, ни с того ни с сего, как беспочвенный мечтатель. Следует упрочить одну сторону для этого портрета.

*24 июля*

Сегодня наконец-то я оформил и поставил на учёт свою новую машину, получил для неё паспорт и номер, тем самым стал окончательно её хозяином. Должен был сдать старую в комиссионный магазин, но на это не хватило времени. Так сложно, с такой затратой времени и сил всё это у нас делается, столько ненужного бюрократического формализма на каждом шагу!.. Об этом тошно писать, а ещё тошнее и изнурительнее было прожить этот скверный день. Послезавтра предстоит ехать в Москву для довершения сложного и глупого дела! <...>

*27 июля*

Всё ещё продолжается моя изнурительная возня со второй главой. Она мне всё-таки не удалась. Между тем, первая глава с самого начала уже летела, как пуля. Я мог многое менять в ней, переделывать, переставлять, выбрасывать целые куски и взамен сочинять новые, но единство ритма, самый факт его движения, его непрерывность спасали эту главу неизменно. На этот раз такой спасительной силы нет, и я чувствую, что проваливаюсь в какой-то вакуум!..

Р

*31 июля*

<...> Худо ли, хорошо ли, но со второй главой я решил покончить и после двух её перепечаток послал экземпляр в “Литературную Россию”. Большого я сделать уже не могу, и всякая дальнейшая правка грозит окончательным выветрием живого. <...>

Много читаю Гюго. Всё, что было в первом томе, замечательно и ценно. Всё относящееся ко второму тому гораздо хуже, растянуто, риторично. Это повторение пройденного в сотнях худших вариантов.

*4 августа*

Несколько дней пробыли на Пахре Шкловские – муж и жена. Он мне всегда нравился. Сейчас я ближе пригляделся к нему. Несмотря на крайнюю усталость (от всей прожитой жизни, он старше меня года на три-четыре) и на некоторую растерянность (потерял ориентиры в отношении молодёжи), он – очень интересный человек, старый борец за новизну, за самобытность и самостоятельность, за дерзость, в конечном счёте, за литературу как дело жизни. Такого человека коммунисты должны были бы носить на руках, уважать как высший авторитет в области культуры. А между тем, кажется, никого столько не били, не разоблачали, не изгоняли, не корёжили, сколько Шкловского. Хребта ему не перешибли, но характер, конечно, испортили: заставили согнуться, сделали более капризным, увеличили его неврастенические черты, которые в задатке у него были.

Жена его, Серафима Густавовна, знаменитая женщина в нашей литературе. Одна из трёх сестёр Суок. Старшая из них была женой Багрицкого (Лидия), средняя – женой Олеси<sup>51</sup>, который был в юности влюблён в младшую, в эту самую Серафиму, ставшую женой Нарбута<sup>52</sup>. А Олеса её именем СУОК назвал героиню своих «Трёх толстяков». И вот теперь она жена Шкловского. В облике пожилой, рыхловатой, крашеной в рыжее особы никак не разглядишь того, чем она была в молодости. И в ней, как в Викторе Борисовиче, тоже растерянность. Они уехали раньше срока, потому что Кирсанов не отапливает свой дом, и в нём сыро. <...>

Я уже давно задумал писать о «Мёртвых душах» Гоголя. <...> Гоголь распорядился хитро и разумно, отнеся время действия «Мёртвых душ» к эпохе, предшествовавшей своей: в годы после отечественной войны, когда ещё был жив Наполеон<sup>53</sup>, и легенда о его победе со Святой Елены действительно могла волновать умы дремучих русских обывателей. Отсюда и Капитан Копейкин<sup>54</sup>.

Есть и другие признаки той эпохи. Председатель палаты знал наизусть “Людмилу” Жуковского<sup>55</sup>, которая ещё была тогда неостывшей новостью...» (написана в 1808 году). И другие литературные вкусы чиновников свидетельствуют о том же. Сам подбор книг очень характерен. Понадобилось Гоголю такое отнесение действия назад, конечно, из цензурных соображений, и он сделал это тонко, ненавязчиво, в пределах второстепенных деталей, но доказательства оказались налицо и цензор ни к чему уже не мог придаться. <...>

*13 августа*

Вот и напечатана в “Литературной России” вторая глава, и мысль о ней окончательно от меня отвалилась – «больше не надо ни песен, ни слёз». <...>

Привёл в порядок статью о «Театре Марины». Было несколько писем от Али Эфрон с важными замечаниями по поводу статьи. Не всегда я был согласен с её мыслями, но решил, что всё-таки родная дочь – главный судья и арбитр, поскольку всё сказанное ею держится на страсти, а это самый большой авторитет на свете. Тем более, Аля права, что каждое её высказывание возвеличивает и украшает память матери. В конце концов, я заинтересован в том же самом!

Только что вышла и её книжка о Пушкине. Таким образом, проза Марины постепенно (страшно медленно, опоздав на 20 лет!) входит в наш обиход. Конечно, книжка замечательная. Впервые я прочёл «Пушкин и Пугачёв». Сколько незамеченных самим Пушкиным несуразиц! Вроде возраста Гринёва (16 лет) вполне закономерного в начале «Капитанской дочки» и становящегося невозможным в последующем повествовании. Как резко и ярко противопоставлены Пугачёв в повести и Пугачёв в истории. Как вообще всё это важно, как богато обобщениями о сущности творчества и самой поэзии.

*14 августа*

Совсем неожиданно мне приснилось, что в самом начале войны Вова был ранен в ногу, точнее, в коленный сустав, и какие-то секретарши меня ободряют: «Подождите ещё, не уходите, скоро он будет с вами». И я жду в каком-то вестибюле или на лестнице, жду долго и просыпаюсь, но ощущение полного соответствия реальности, полной правды этого сна остаётся ещё долго. Вова снится мне теперь гораздо реже, и каждый раз это неожиданный подарок.



*16 августа*

Вчера М. Матусовский прочёл мне главу из романа Солженицына «В круге первом». Это необыкновенно сильная вещь. Речь идёт о Сталине где-то в 1949-50-х годах, вскоре после его семидесятилетия.

Это самое сильное, самое безжалостное и, повидимому, очень правдивое изображение Сталина. Действие происходит на его подмосковной даче, скорее же, в бетонированном, уединённом, защищённом от всего мира убежище, его добровольной тюрьме. Сталин болен, одержим мыслями о смерти, но надеется дожить до 90-та лет. Сдаёт его память, он лежит на тахте под тёплым верблюжьим одеялом в полном одиночестве.

Автор следит за круговоротом его мыслей, однообразных, въедливых, ужасных по своему эгоизму. Дважды к нему является Поскрёбышев, обрисованный с такой же безжалостной, шаржированной силой. Затем Сталин принимает Абакумова<sup>56</sup>. Разговор с этим последним – важная часть всего отрывка. Разговор начинается с подготовки покушения на Тито<sup>57</sup>. До этого рассказано о гибели Кости Тройчева. Затем Сталин переходит на меры «по охране высшего партсостава». Абакумов хорошо знает, что Сталин подразумевает здесь исключительно охрану самого себя. Всё это сделано драматургически сильно, смею сказать, по-шекспировски. Где-то в середине повествования Сталин один и начинает обдумывать (на основе Чикобава) свою собственную статью по языкознанию: язвительно, с висельным юмором (т.е. авторским, конечно).

Вот уже сутки прошли, а я хожу загипнотизированный этим рассказом и убеждён в том, что именно он и останется документом недавней эпохи, гораздо более достоверным, чем любые другие документы. Именно потому, что это произведение действительно великого писателя.

Вся вещь (по рассказу Матусовского) посвящена судьбам привилегированных лагерников, которые были заперты для того, чтобы продолжать свою драгоценную работу на пользу государству. Таким был, например, Туполев<sup>58</sup>, да и многие другие инженеры, изобретатели, конструкторы. Вот почему вещь и называется «В первом круге». Ибо многие из них впоследствии становились узниками самых обыкновенных и несравненно более страшных лагерей, многие и погибали.

В добавление ко всему я сделал открытие: Матусовский очень талантливый чтец. Открытие после тридцатилетней близкой дружбы. Он прочёл как очень хороший, глубоко искренний актёр, способный к полному перевоплощению.

*17 августа*

Закончил читать книгу Вирты<sup>59</sup> об отечественной войне – книгу компилятивную и без открытий. Думаю над изображённым в ней Сталине. Это – реальный политик, стратег, отлично разбирающийся в военных делах, денно и ночью видящий перед собой карту всех фронтов, проницательный дипломат, угадывающий тайные мысли таких партнёров, как Черчилль и Трумен.<sup>60</sup>

Всё это сейчас скидывают со счёта и на мёртвого валят все грехи, преступления, вины и беды той эпохи... На мёртвого валят, как на ... мёртвого. Мы к этому привыкли. В сущности, это такое же легкомыслие, как считать живого гением всех времён и корифеем всех наук... <...>

Вообще, чем больше живёшь, тем яснее, что в XX веке при каждом новом повороте истории вырастают новые Гималаи непролазной, безвыходной лжи. У XIX века трагедия заключалась в иллюзиях и их утратах. Это случалось в каждом поколении, но каждое новое находило для себя новых богов, новые истины. У XX века нет никаких иллюзий, ни старых, ни новых, так что и утрачивать решительно нечего. Революционные, социалистические, либеральные, гуманистические, – все они, вместе и порознь взятые, одинаково выметены на свалку. О более древних и потому более почтенных когда-то, например, о христианстве – и говорить нечего! Оно на той же свалке, увы!

*21 августа*

<...> Много читал в эти дни, разного и всякого, но как-то не хочется и незачем отмечать здесь что-нибудь. Вышла книжка Смелякова «День России». Один раз поверхностно проглядел её и пока не решаюсь судить. Много очень хорошего, но и грандиозное кокетство, любование своим собственным характером. Ещё не знаю, буду ли писать об этой книжке. «Литературная Россия» очень просит. Очень хотел бы писать о прозе Марины, особенно о её Пушкине.

*22 августа*

Вчера я случайно зашёл в Союз, и Гатов<sup>61</sup> мне сказал (с выпученными от усердия глазами и крайне нервно!), что меня ищет Воронков. Последнего не было на месте, но его секретарша объяснила, что меня давно уже вызывают в ЦК, дала телефон и имя: Беляев. Я позвонил, и мы уговорились встретиться в пол-четвёртого. Оказалось, он действительно тщетно меня искал вот уже два месяца, если не больше – со времени Съезда.

Итак, речь о моём письме к Демичеву насчёт письма Солженицына. Дескать, я неправильно информирован, если доверился всему, что написано в этом письме. У Солженицына не было никакого обыска, никто его рукописи и не думал изымать. А было так, что одна из рукописей (пьеса «Пир победителей») была обнаружена на таможне в чемодане какого-то итальянца. Последний сообщил, что получил её от некоего журналиста Кеуша. Обратились к Кеушу, тот отпирался и вообще оказался подозрительным субъектом. Когда у него был сделан обыск, то обнаружили все произведения Солженицына, все рукописи, о которых идёт речь в письме. Именно эти экземпляры и были изъяты у журналиста. Так что всё, рассказанное мне в ЦК, проливает новый и неприятный свет на всё это нашумевшее дело.

<...> Попутно разговор о Вознесенском, о его письме в “Правду”. И тут много такого со стороны Вознесенского, что рисует его в неожиданно неприглядном виде. <...>

Необходимо выслушивать две стороны, когда возникает конфликт. И в случае Солженицына и в случае Вознесенского две стороны, конечно, существуют. Одна из них всё-таки ЦК, Секретариат СП и т.д. Конечно, при всех условиях любой Солженицын (кем бы он ни был) и любой Вознесенский (кем бы он ни был) гораздо ближе мне, человечески и духовно, чем любые инстанции. Но я обязан прислушаться и к инстанциям, особенно, если речь о фактической стороне дела, о неоспоримых расхождениях по существу.

И вот оказывается, что позиция талантливого писателя небезупречна. В своём письме, разошедшемся по всему белу свету, он неточен. И это печально! Потому что шум вокруг, и особенно «на коротких волнах», отвратителен.

Вчера сдал книгу в “Сов. пис.”

*23 августа*

Кому бы я ни рассказывал о своём свидании в ЦК, все ругают меня и смеются над моим легковерием, над моей доверчивостью. Действительно, я не сказал тогда всего, что должен был. Не нашёлся, что возразить, не вспомнил об истории с В. Гроссманом (которого упомянул в своём же письме), о дневниках Симонова, о романе Бека<sup>62</sup>, о ряде других цензурных неистовств последнего времени. Наконец, я слишком взял на веру версию Беляева о Солженицыне, хотя широко известны бесспорные вещи, в том числе и то, что у него были изъяты рукописи в тот же день, когда он принёс их из редакции «Нового мира». Всё это факты, а не слухи, не выдумка. Так что выходит, я здорово оплошал третьего дня, прельщённый обаятельной улыбкой своего собеседника, его «честными» голубыми глазами. Это ужасно. И, к сожалению, уже непоправимо.

*24 августа*

Ещё в конце июля Савва Головановский прислал свой роман, и я только в эти два последних дня прочёл его. В романе идёт речь об очень сложной и опасной военной операции по спасению плотины Днепрогэса от немцев при нашем наступлении осенью 1943 года. Много хорошо написанных персонажей, много драматического действия, а главное в том, что Савва на редкость хорошо знает и чувствует технику войны и военного дела, ремесла, подвига. Сюда же входит, конечно, и психология: рядового, офицера, командира. Всё это он знает и по личному опыту 41-45-х годов, и как писатель, т. е. знаток чужой души.

В романе есть и промахи: количество (слишком большое) действующих лиц, старание каждому из них во что бы то ни стало дать прошлое в специальном отступлении назад (во времени). И главные, наиболее важные лица, ступёвываются и теряются в общей сутолоке.

Но всё-таки Савва молодец. Прирождённый повествователь, прозаик, рассказчик. Дарование редкостное по чистоте типа.

*26 августа*

Написал статью о книге Ярослава Смелякова «День России». Книга понравилась мне меньше, чем я ожидал на основании раньше напечатанных (и читанных им самим) стихов. Но всё-таки она важна как сигнал, знамение, признак очень большого дарования, достигшего зрелости и расцвета. Поэтому я и решил написать безоговорочно похвальный отзыв. Ярослав всегда был мне мил, интересен, интриговал своим крутым характером, своей непростой судьбой. Она очень трудна: три ссылки плюс финский плен. И всё это было выдержано мужественно. Человек он настоящий и недюжинный, а поэт – тем более!

*1 сентября*

Очень интересная монография о художнике Серове (автор Копшицер) в издательстве “Искусство”. В ней есть кое-какие мелочи сплетнического (т.е. опоздавшего на 60 лет) характера, но их не так уж много. А в целом – это просто неожиданный подарок.

Широкая картина девяностых и девятисотых годов. Захвачена почти вся художественная жизнь России. Тут, кроме Серова, и передвижники, и Врубель, и Коровин<sup>63</sup>, и «Мир искусства»<sup>64</sup>, и Дягилев, и Художественный театр, и ещё много чего. Автор довольно остро разбирается в живописи, в графике, вообще в изобразительном искусстве, а сверх того, и это самое главное, он действительно любит своего героя. Словом, книга настоящая. Издана неплохо. Цветные репродукции просто хороши. А вот одноцветные – швах: у нас нет интенсивного чёрного цвета в типографских работах, всё получается тускло и серо.

В повествовании много драматизма. <...> Старые распри, старая борьба за настоящее искусство хорошо оживают. Но боже мой, каким дураком на старости лет выглядит Стасов<sup>65</sup>, как плохо он пишет, какой фальшивый витиевато-застольный язык в похвалах, какая бессмысленная и малограмотная ругань в критике. Да и Репин<sup>66</sup> иной раз сбивается на нечто похожее. И ещё раз убеждаешься, какой крупной фигурой был, например, Дягилев! И Бенуа! И прежде всего сам Серов!

Я видел его один раз на Никитском бульваре с двумя сыновьями Александром и Юрой, с которым я учился вместе и потом дружил в Мансуровской Студии. Отец небольшого роста, сутуловатый, в каком-то туристско-спортивном пиджаке. Все трое быстро куда-то шли, может быть, спешили за город. Это было воскресенье. У него был напряжённый, зоркий взгляд – вперёд, на далёкое расстояние, кажется, что выжидающий – может быть, он и ждал встречи, условленной на этот час на бульваре. Судя по тому, что все трое так врезались в память, наверно, это было очень незадолго до смерти В. А. Серова, где-то осенью 1911 года. Я был в 5-м классе гимназии, а Юра Серов в 6-м, но остался в нём на второй год, так что мы оказались в одном классе со следующей осени 1912-го года.

*2 сентября*

Решительно мне повезло с чтением! Только что я написал о Серове, а сегодня прочёл биографию Делакура<sup>67</sup> в серии “Молодой Гвардии”. Написал эту небольшую книжку (всего 222 страницы) Алексей Гастев.<sup>68</sup> Подозреваю, что сын поэта Алексея Гастева, загубленного Сталиным.

Это талантливая, яркая, своеобразная книжка, редкостная по нынешним временам и по общей культуре автора. Культура и талант настолько бросаются в глаза, что я сначала подумал: уж не списал ли автор у кого-нибудь, не украл ли он это всё? Но если так, значит он украл всё сплошь, с начала до конца. Проще предположить, что он и сам не дурак. Выходит, у нас выросла хорошая, всесторонне подкованная молодёжь, почему не предположить возможность яркого дарования?

Очень выразителен образ самого Делакура со всеми цитатами из его дневников и писем. Есть и другие отличные портреты: Энгр<sup>69</sup>, Бальзак, Гьер<sup>70</sup>, Стендаль. В книге считается безусловно доказанным, что Делакура был сыном Талейрана<sup>71</sup>. У Гастева просто завидный по охвату исторический кругозор, прекрасные общие мысли о XIX веке. Он не цитирует Блока, но, кажется, читал его, равно как и Шпенглера, равно, конечно же, как и Герцена. Постараюсь его разыскать через “Молодую гвардию”.

*3 сентября*

Чем дальше живёшь или точнее, чем дольше подвигаешься в этом, таком или эдаком (судя по настроению), двадцатом веке, тем сильнее чувствуешь свою связь с девятнадцатым

веком. Она всеобщая, всепроникающая, обнаруживаемая решительно во всём и везде. И если её забыть, пренебречь ею, сразу всё затуманивается, становится спорным и скучным.

Деятнадцатый век – это Бальзак и Толстой, Достоевский и Диккенс, Пар и Электричество, и телеграф, и одна, две, три и ещё множество других революций, и Гёйне<sup>72</sup>, и Лермонтов, и Ницше, и Ибсен<sup>73</sup>, и гуманизм, и Герцен (который мне дороже всего остального), и Гюго, и Чехов, и все начала начал, которые обнаружили уже в девяностых годах, вроде русско-японской войны и броненосца Потёмкина<sup>74</sup>, и декабрьского восстания в Москве 1905 года, плюс Пикассо, плюс Эйзенштейн, плюс Чаплин.

Словом, если и не быть размашистым (как только что был я), если с большей глубиной, зоркостью и ответственностью взглянуть в эту связь времён, то всё равно она представляется самой неотложной темой для размышлений, самым главным из прожитого несколькими поколениями.

Нет ничего удивительного в том, что об этом помню и говорю я, семидесятилетний человек, но о том же должны знать возможно точнее и полнее и те, что гораздо моложе, вплоть до первокурсников гуманитарных вузов. И, что греха таить, XIX веком должно любоваться сегодня.

Умер на 77-ом году жизни Эренбург. У него был инфаркт, очень серьёзный и к тому же запущенный, потому что в течение нескольких дней он не обращал внимания на боль в левой руке, и когда явился врач, обнаружилось, что он ходил несколько дней с инфарктом. Так что его уже не могли перевезти с Истры в клинику. Так рассказала Кипса недели полторы тому назад. Завтра Эренбурга хоронят, а сегодня в 12 ч. дня гражданская панихида в ЦДЛ. Конечно, я поеду.

Эренбург – это очень много во всей нашей жизни, в частности, моей. Тут я даже не знаю, с чего начать. Видел я его и общался с ним не так уж много за все минувшие, долгие, разные годы. Но каждая встреча была так или иначе важной. Особенно, может быть, в 49 году, когда он специально позвал меня к себе, чтобы утешить и ободрить в дни разнузданной космополитической и антисемитской травли. Но были и другие, очень запомнившиеся, например в 1928-м году в Париже в ресторане около театра Одеон и Люксембургского сада.

Да, Эренбург – это целая эпоха, наша эпоха. Он первый человек в России, заговоривший о Вийоне.<sup>75</sup> Первый, заговоривший о Пикассо. Первый – о конструктивизме. Первый в советское время романист-прозаик, сразу полюбившийся широкому читателю. Он – герой войны в Испании. Он – лучший публицист и газетчик в годы Отечественной войны. Он один сделал для победы больше всех советских писателей, взятых вместе. Это сказано без всякого преувеличения.

В послевоенное время он был самым неутомимым и поэтому самым полезным из всех писателей-офицеров связи с зарубежными деятелями. А среди этих зарубежных он наиболее влиятельный, чтимый и духовно им понятный и близкий. Наконец, он самый несговорчивый и смелый по части резать правду матку в лицо руководству.

Всё это заслуги в высшей степени исторические. <...> И неудивительно, что у него была масса врагов, а среди врагов самый оголтелый, конечно, Шолохов<sup>76</sup>. Шолохов позволял себе лаять и хаять, когда многие его единомышленники молчали в тряпочку. Впрочем, вспоминать тех негодяев у ещё раскрытого гроба незачем.

Когда говоришь, что Эренбург – эпоха, тем самым признаёшь, что эта эпоха вместе с Эренбургом закончилась. Дело обстоит именно так, увы! Никто из ныне живущих

деятели нашей культуры не сравнятся с Эренбургом в смелости, в культуре, в авторитете. И если культура и авторитет – дело наживное, то смелость даётся от рождения. <...>

*5 сентября*

Вчера в ЦДЛ была гражданская панихида и прощание с Ильёй Григорьевичем Эренбургом. С внешней стороны всё как-будто на высшем уровне. Гроб был установлен на сцене, в большом зале. С 11 часов открыли доступ к нему. Народу было страшно много, как ни на одних писательских похоронах в последние годы. Люди шли непрерывным потоком до часу дня, потом доступ был закрыт. В зрительном зале, вмещающем тысячу человек, разместилось не меньше двух тысяч.

Но гражданская панихида была совсем не на высшем уровне. Открыл митинг Полевой, который бодро и громко говорил казённые, само собою разумеющиеся слова, и ни единого слова сверх того. Затем говорил Лидин, примерно так же, хотя и назвал себя «другом покойного». Затем от Комитета мира Юрий Жуков – несколько горячее, но не слишком. Затем Ян Дрда – по-чешски. В конце – председатель франко-советского общества дружбы, лысый старичок француз, проживший все эти годы у нас. Вот и всё. Такое у всех впечатление, что в ЦК чего-то боялись. Демонстраций? Слишком горячих слов в честь писателя? Лишних утверждений его заслуг, что ли?

Словом, это была поразительная по героизму картина. Кто-то додумался до того, что высокие похвалы Эренбургу были бы «неприятны арабам». Но я убеждён, что эти «арабы» сидят на Старой площади, а может быть в редакции «Октября» или «Огонька», а то и в станции Вешенской.

А между тем, последний номер «Юманите», вышедший в Париже ещё до того, как появились в наших газетах куцые и жалкие некрологи, и уже полученный в Москве, полон самых искренних и сердечных выражений скорби и подлинного признания заслуг и значения Эренбурга. То же самое в английских газетах. Но и наш народ на улицах, самый разный, тоже искренен, тоже чувствует значение утраты. Многие поминают недобрым словом Шолохова.

Издалека я видел и Любовь Михайловну и Ирину. Любовь Михайловна седая, худенькая, измождённая. Ирина необыкновенно мрачна. Говорят, что она особенно тяжело чувствует утрату. Оказывается, что у него был инфаркт лёгкий, и он уже совсем выздоравливал и сравнительно хорошо чувствовал себя. И вот внезапно, когда врач считал его пульс, остановилось сердце на 65-м ударе. Так что он скончался мгновенно и неожиданно и, очевидно, не зная сам, что умирает. Всё это грустно... и страшно.

*6 сентября*

Сколько бы все мы ни колебались, ни блуждали между умом и чувством, рационалистическим и эмоциональным, само это колебание или блуждание свидетельствует о нерасторжимой связи, о близости ума и чувства. То и другое сосуществует не зря. Они одного корня, который называется «душевная жизнь» или ещё лучше ДУХ. Вот почему точная наука и искусство не исключают друг друга, не противоположны, как я в последнее время утверждал, а наоборот: они – родные братья, и нельзя терять эту широкую и плодотворную перспективы. Только она одна возвышает и учёного и художника в одинаковой степени, возводит обоих на должный престол.

Для меня, во всяком случае, эта точка зрения новая, своего рода открытие. Сказанное противоречит всему, что я чувствовал и говорил до сих пор, в частности в стихах «Четвёртого измерения». И мне ещё предстоит сделать множество важных выводов.

*13 сентября*

Третьего дня происходило большое партийное собрание об итогах съезда. Докладывал Воронков. После изрядной порции декламации о том, каким чудом железного единства был этот поганый съезд, и прочего вздора – переход к письму Солженицына (повторение всего, что я услышал в ЦК) и к несчастной истории с американской поездкой Вознесенского, с его письмом. Тут моё впечатление всё-таки двоится! Сознаюсь прямо – не очень нравится мне Андрей Вознесенский – забалованный всеми видами успеха, который выпал на его долю как отражение успеха Евтушенко – то есть косвенно, забалованный и при этом почти вовсе беспринципный.

Поэтому, даже если в этом случае с нами поступили некрасиво и ввали с три короба и ему и каким-то американцам, – всё равно он, сам, не вызывает большой симпатии. А ввали действительно много и беспардонно.

Давно я не был на таких партсобраниях, и от обилия лиц, говора, рукопожатий, движения вокруг и около – у меня кружилась голова и не было сильного интереса к речам с трибуны. <...>

Все эти дни я читаю разные вещи Арагона и убеждён в его необычайной талантливости. Да, это настоящее явление в поэзии. Из-за множества внешне-политических, гражданских, партийных и прочих обстоятельств того же типа, явление самой поэзии Арагона было затемнено или отодвинуто куда-то на третий-четвёртый план. А между тем, имеет значение только оно одно. Его большая поэма «Поэты» мне нравится чрезвычайно. Если бы я был моложе, взялся бы с радостью её переводить!

*15 сентября*

Вчера весь день у меня Тува Лондон, мой любимый ученик по Горьковскому театру. Наша дружба длится тридцать три года. Это вся его трудовая жизнь и вся моя театральная деятельность после ухода от Вахтанговцев. Тува – это Фигаро, Ромео и ещё множество современных ролей. Он рассказал мне ужасную, но, увы, очень типичную историю о том, как его выживали и выжили из театра в Ногинске. История скверная, мучительная, чёрт знает какая. Множество чиновников (среди них и Павел Тарасов) выражают ему полное сочувствие, клянутся помочь и не могут справиться с кучкой негодяев, бездарных халтурщиков, которые засели в этом театре, вершат там свои скверные дела и хотят остаться безнаказанными, для чего и поспешили избавиться от Лондона. Он колет им глаза одним своим присутствием, да к тому же и завзятый борец, на том и вырос, только и делает в жизни, что свирепо расправляется с подобными людишками. Таким и рос этот Горьковский коллектив.

Лондону сейчас пятьдесят три года. У него уже внук имеется. Ему давно пора приобрести прочную оседлость и так называемое прочное положение. Он заслуженный артист РСФСР. Но какие-то дрожжи старой закваски: не то комсомольский азарт, не то дух Аркашки Несчастливцева, – постоянно превращают его в героя служебных неурядиц!

*16 сентября*

Сегодня я повторил ещё раз «Невский проспект», но вышло ещё хуже. Я слишком спешу. Получается мазня.

*17 сентября*

За последние дни я ещё больше утверждаюсь в желании писать о «Мёртвых душах». <...> Я буду писать о другом толковании Чичикова. Он никак не может быть назван капиталистом, символом наступления власти денег, что бывало приписано концепции Гоголя. Это заблуждение. Чичиков вышел из служилого класса, из бюрократии. Самый замысел обогащения посредством скупки мёртвых душ бюрократичен и по форме и по существу. Только чиновник мог додуматься до того, чтобы утверждать законность такой сделки! Только в чиновничьих мозгах могла родиться и расцвести вся эта нелепость. Она сродни и поручику Куже и другим явлениям русской истории, когда фикции придавалось большее значение, чем живому явлению, когда человека заменяла бумажка.

<...> Статья предназначается для массовой библиотеки Гослитиздата (там же мои статьи об «Онегине» и лирике Лермонтова). Но захотят ли такую статью?

*21 сентября*

Два дня в Москве, 19 и 20-го, на международном совещании переводчиков советской литературы. Мне было очень интересно, увлекательно и я жалел, что это закончилось. <...> Я давно уже заметил, что собрания и совещания переводчиков несравненно интереснее, умнее и содержательнее, чем встречи писателей других жанров и, кажется, понял, почему. Дело в том, что наши встречи – всегда мастерская, студия. Наше ремесло всегда на стыке эстетики и филологии, вольности и точности, искусства и буквализма. И этот внутренний спор переходит во внешнюю дискуссию. Мы не переливаем из пустого в порожнее! <...>

*7 октября*

Целую неделю я проболел, пролежал дома, вышел на улицу только вчера. В “Сов. писе” смотрел оформление книжки Льва Левина. Оформлял художник В. Медведев. Это не только удача, не только блеск, но и праздник – одинаково для автора, Левина, и для меня как героя этой книги. Фотографии пересняты превосходно, равно как и мои иллюстрации. И то, что придумал Медведев сверх того, тоже замечательно.

*9 октября*

Наверно, я лет тридцать не держал в руках знаменитой книги Кюстина<sup>77</sup> (она была издана только в 1930 г.), а сейчас вспомнил о ней в связи с моей работой над «Мёртвыми душами». Книга страшная и, очевидно, когда бы её ни перечитывал, она всегда окажется злободневной, всегда чем-нибудь да царапнет больно и зло.

<...> Но пока я боюсь вплотную приступить к делу, хочу предварительно очень подробно и вполне ясно представить себе картину обогащающейся бюрократии, её



мошенничество, пределы её могущества. Чичиков – средний чиновник, понявший выгодность своей позиции.

*11 октября*

<...> Чичиков ни в каком случае не представитель молодой буржуазии периода «первоначального накопления». Он – бюрократ, представитель единственно сильного при Николае класса. Отсюда его психология, его язык, все его привычки и повадки. Отсюда его план обогащения: скупка мёртвых и ревизских (как бы еще живых) душ, план, подсказанный ему в одной из николаевских канцелярий. Это план бюрократический. <...>

*13 октября*

Читаю «Графиню Рудольштадт» Жорж Санд. Кажется, что когда-то уже читал этот роман. Он хуже «Консуэло» (первой части). Женская, даже ребячливая наивность замысла и просто невероятная болтливость. Но воображение работает так, что дай бог всякому. В XX веке эта сила воображения утрачена целиком. По сути дела, тут разгар, расцвет романтизма, его лучших сторон и возможностей, когда религия, гуманизм, свободолюбие, революционность, демократизм, – всё это работало сообща, существовало как данность и как обещание, как действительность и как мечта одновременно. Время очень больших, беспредельно больших упований европейского человечества. Такие времена бывали и раньше, задолго до XIX века, но явление романтизма ближайшее к нам по времени. Интересно, что ярче всего оно отразилось в женском творчестве.

*14 октября*

Продолжаю о романе Ж. Санд. Он ещё одно очень сильное свидетельство здоровья прошлого века, его неисчерпанной молодости, больших надежд и перспектив, открывшихся человечеству. Родоначальницей этого оптимизма была, конечно, французская революция, и несмотря на все реставрации и реакции, несмотря на ужасный опыт наполеоновской империи и всё последующее, включая Священный Союз и т.д., всё равно свободная мысль росла, ширилась, заявляла о своих победах во всё горло. Где всё это сейчас?

Свободная мысль заявляет в XX веке о своей непомерной усталости, о полном отсутствии дороги дальше, о нежелании искать дорогу. Это повсеместно. Я говорю, конечно, о Европе, но о чём ещё стоит говорить, кроме нас? Мне очень хочется оказаться неправым.

Ясна связь Ж. Санд с утопическим социализмом, прежде всего, с Пьером, а через Леру – с Фурье и Сен-Симоном. Обнаруживается очень важная черта первых социалистов: они действовали на воображение, на душу художника, на весь его внутренний мир в целом. Поэтому они значили гораздо больше в развитии культуры, нежели Маркс<sup>78</sup> и Энгельс.

Токи высокого напряжения, которые шли оттуда, затерялись в пыли, в грязи, ушли в песок. Восторжествовала политика, которая способна задушить любую культуру, утопить её в своей мелкой луже. Пафос якобинцев был утоплен в избирательных кампаниях, в ответственных министерствах. «Великая ересь социализма» утоплена в Верховном Совете Союза ССР и в ЦК КПСС. Гораздо раньше то же самое случилось в историческом христианстве.

15 октября

Прочёл книгу Юрия Анненкова «Дневник моих встреч», первый том. Это издано в прошлом году, в Нью Йорке. Книга странная. Она – сплошной некролог. Один за другим проходят Горький, Блок, Есенин, Ахматова, Маяковский, Бабель, Зощенко. Еще Пильняк, Г. Иванов, Замятин.<sup>79</sup> И ещё сколько другие!! Каждый в этом шествии «замучен тяжёлой неволей». <...>

Он сильный художник, но обыкновенный обыватель. Исторического кругозора у него нет, мировоззрения – тоже. Есть эстетические пристрастия, уверенность в своём пути художника-новатора. Мне было интересно и больно читать эту книгу, но она совсем не нравится мне. В сущности, во всех своих героях Анненков ничего не разглядел, не угадал. А между тем, по всем видимостям, почти все они издавна и по-настоящему дружили с ним, начиная с Репина и Горького и кончая хотя бы Зощенко или Бабелем. Он старательно настаивает каждый раз на своей личной связи с тем или другим: тут и письма от них, и разговоры, и обстоятельства близости, знакомства, дружбы.

<...> Ему 78 лет, за плечами эмиграция – это всё-таки дело нешуточное, хотя он всегда был признан в Париже: работал и в театре, и в кино, и в графике. Он даже повести писал, оказывается, под псевдонимом Темерязева. Видимо, дело не только в старости, но и в том, что кроме неприятия, отвращения к революции и Советской власти у Анненкова так-таки ничего за душой нет. Есть ещё талант очень острого рисовальщика, мастера, виртуоза. Но это – личный багаж, вроде хорошей, нарядной одежды. К нравственному облику человека он ничего не прибавляет.

18 октября

«Мёртвые души» – это одна из самых больших узловых станций всего русского XIX века, вроде Лозовой. В своё время здесь встретились все коренные проблемы дальнейшего развития культуры и жизни и ждали нужного поезда для пересадки. Я в трепете перед началом писания статьи о «Мёртвых душах». Боюсь, что она выйдет много хуже, чем мой замысел. Необходима величайшая сосредоточенность, а её нет у меня.

19 октября

Работал над отрывком из III-ей главы поэмы, условно названным «7 ноября 1917 года». Это нелегко далось мне! Целый блокнот измаран черновиками нескольких первых строф, и в течение уже более двух недель я в отчаянии и в смятении: не убеждён, что что-нибудь выйдет. <...> Только упрямство, азарт, а может быть и самолюбие (дескать, не сдамся!) заставили продолжать работу. Впрочем, я ещё не знаю толком, получилось ли у меня что-нибудь путное. Каждая из строф сама по себе энергична и осмысленна, но в целом какой-то нечленораздельный вопль. Может быть, и следует его бросить в корзину.

22 октября

Вчера в большом новом Кремлёвском дворце был торжественный Пленум всех творческих союзов, всей художественной интеллигенции страны: писателей, музыкантов, художников, архитекторов, киношников, актёров и, кажется, я ещё кого-то забыл.

Несмотря на официальность и парадность этой ассамблеи, всё-таки мне было интересно. Осмотрел здание. Кремля оно не портит, как казалось раньше, со стороны. Наоборот, не будь этого дворца, не было бы видов на Кремль сверху, с пятого этажа. И внутри же всё очень хорошо, комфортабельно, светло, просторно, вполне модерно, вплоть до эскалаторов на верхние этажи. Огромный зал по-своему даже уютен. Пообщался с Бажаном, В. Орловым, Каладзе, милыми моими друзьями.

С бедной Беллой происходит что-то ужасное, несравненно более жестокое и трудное, чем всё бывшее до сих пор. Кажется, прошло больше двух месяцев после её последнего разрыва с Нагибиным, разрыва, наверно, уже окончательного. С тех пор она катастрофически пьёт – то в компании с Галей<sup>80</sup>, то одна, то чёрт знает с кем. Недавно была в Югославии и вела себя там как нельзя хуже. Сейчас ей предстояла очень хорошая и важная поездка в Италию, но после Югославской эскапады её не решились послать. (Эту последнюю новость я узнал от Константина Симонова сегодня.)

Что будет с нею дальше, трудно понять. Я почему-то убеждён, что здесь много литературно надуманного, а также от необходимости (ей свойственной) постоянно раздувать «пожар сердца». Но, может быть, это ещё хуже!

25 октября

Сегодня в течение нескольких часов я сделал в Москве очень много. Прочёл и отредактировал интервью со мною, предназначенное для журнала “Неделя”. Был на совещании редколлегии по десятитомнику Брюсова. Сдал в “Литературную Россию” ту самую третью главу, о которой здесь уже много записывал. Кажется, она получилась, и даже очень. В редакции меня усердно благодарили и, похоже, искренне. Кроме того, в Гослите (на совещании по Брюсову) договорился о статье о «Мёртвых душах» для Народной (многотиражной) библиотеки. В ней же были напечатаны мои стихи об Онегине и лирике Лермонтова. <...> Обязался сдать статью в декабре.

27 октября

Получил письмо от своего старого корреспондента Евгения Павловича Зубова из Магадана. Это первый связный и очень благожелательный отзыв на две главы поэмы. Видимо, Зубов сначала прочёл вторую главу, а потом уже достал первую. Отзыв взволнованный и какой-то лично заинтересованный.

Кое в чём он упрекает меня и винит. В том, например, что мало «меня»: с моей собственной жизнью, с моими бедами и прочим, – я всё время ухожу, сматываюсь с поля зрения читателя. Это замечание верное, но что скрывать, я именно этого и хотел и добивался. Далее пишет, что смена и стык времён слишком выпирают, – я слишком спешу заявить: – дескать, физики спят, запасы урана спят и т.д.

Судя по всему письму, ему больше всего нравится 1905 год, «пятилетний двадцатый век». Тут я с ним согласен. Действительно, здесь историческая картина развёрнута

достаточно. Между тем, в ряде других эпизодов даже история (т.е. не биография) говорит невнятно, бледно – так в войне 14 года, и в только законченном 1917 году – всё это «пролёт сквозь», романтическая скороговорка, без живой конкретной содержательности. И главная обида в том, что теперь я уже не возьмусь за какие-нибудь добавления, не осилю их, не увлекусь настолько, чтобы взяться за дело. Вечное проклятие моего труда: кажется, медленно и медленно, откладывая со дня на день и, казалось бы, коплю достаточно материала и так далее, а в итоге – спешка, полуфабрикат, нечаянная, непредвиденная сделка художника с собственной совестью – и всё повисает на соплях. А может быть, и вообще не существует в нашем деле совершенства?

*7 ноября*

Сегодня праздник всеобщий, всенародный. Мы с утра ехали с Зоей на Пахру, по совершенно пустому Комсомольскому проспекту, пустому Калужскому шоссе, что наводит на мысль, что мы – изгой праздника. <...>

*14 ноября*

Дочитал обе части трилогии Фолкнера<sup>81</sup> «Деревушка» и «Город». Конечно, это очень серьёзное явление, значительное, рождённое в глубоких недрах народа, его истории и его быта. К сожалению, третья часть этой трилогии была напечатана в «Иностранной Литературе» до того, как вышли первые две. Я прочёл её в недоумении, всё было непонятно, запутано, вкручено в какой-то вихрь событий и мыслей, который нельзя разгадать, если не знаешь начала. В этом было просто неуважение к читателям.

Надо сознаться, что американская проза – самое важное и яркое явление литературы середины XX века. В двадцатых годах первенство это принадлежало нам, всё-таки нам, хотя бы за идейную свежесть, определённую, а также за смелость в поисках и удачу в находках, – за всё, что шло от Андрея Белого. Но мы проиграли этот тур в тридцатых годах, и теперь тащимся по-прежнему на тормозах близорукого и бездарного руководства, которое никак не может сообразить и учесть опыт своих прошлых роковых ошибок.

*18 ноября*

Сегодня я пробую написать эпилог к поэме. Двигается он очень легко, за день написаны чуть ли не 80 строк. Что они из себя представляют, я ещё не знаю, но самый факт лёгкого написания всё-таки говорит за себя. Такого не было со мною с 1964 года, когда я быстро и как по мановению волшебной палочки заканчивал «Четвёртое измерение», «Пикассо», «Циркачку» и др. Дело происходило здесь же на Пахре, в такой же осени.

Дай бог, чтобы это состояние продлилось несколько дней хотя бы. Если продлится до весны, ещё лучше! Удивительное дело! Никогда в жизни я не знал, не умел уследить, откуда и как это приходит. Вдруг открывается какой-то клапан – и на тебе!.. Стихи – рекой. Всё на свете чудо!

20 ноября

<...> Я сижу над Мёртвыми Душами. Сейчас в статье 33 рукописные страницы. Кажется, они слишком многословны и вялы, слишком много цитат из самих «Мёртвых Душ». Это только приступ к настоящей работе. Она трудна и объёмнее, чем я предполагал. <...>

26 ноября

<...> Я привёз из Москвы множество книг. Среди них: «Разговор о Данте» Мандельштама. Это вычурно, слишком тонко, чрезвычайно воинственно по тону против всех прежних толкований Данте, чрезвычайно далеко от моего отношения к поэзии, но несмотря на всё вышесказанное, это замечательно. За всем и вопреки всем возражениям здесь безусловный проблеск гениальности. Где-то ссылается на Шпенглера.

Аля прислала мне номер армянского русского журнала – там её маленькая статья о встрече в Париже в 1933 году Марины с Исаакием. Все Цветаевы талантливы в слове. Аля тоже: всё изобразительно, выпукло, «с подлинным верно». Спаренная работа памяти и воображения – то, что я всегда ценил больше всего в других и в себе.

27 ноября

Сегодня написал ещё одну главу в моих «Мёртвых Душах» – о крестьянстве. Она давно была задумана и писалась сравнительно легко. Получилось шесть страниц на машинке. Предстоит последняя глава – о втором томе. И еще хочу хотя бы бегло написать о современной Гоголю критике поэмы и о её дальнейшей судьбе.

Сейчас уже есть 33 страницы, очевидно, дело дойдёт до пятидесяти. Разумеется, что в предисловии к массовому изданию такого объёма не может быть, но я даже не знаю, как всё это сокращать, и поручить, кажется, некому.

30 ноября

<...> У нас опять живёт Владимир Михайлович, добрый гений этого дома, таким он стал за этот год. В его присутствии, с его необыкновенной деятельной помощью обстановка приобретает черты уюта, из жизни уходят тревога и нервность. У Владимира Михайловича решительно золотые руки за что бы он ни взялся. Главное: он любит чинить, паять, столярничать, красить.

3 декабря

Из «Мёртвых душ» я постепенно выкарабкиваюсь. На очереди последняя глава – о втором томе. Было несколько плохих проб и приступов, но сегодня я начал её серьёзно и работа пошла. Кроме того, вставил несколько важных кусков в предыдущие главы о росте бюрократии при Николае. Наружу проступает удивительное сходство с нашей бюрократией. Пускай останется как есть! Не представляю себе такой инстанции, которая призналась бы в том, что сходство действительно имеется! <...>

5 декабря

Книга Моруа о Бальзаке – образец того, как надо писать такие биографии и монографии. Это труд огромный, разносторонний, многообъёмный. Тут есть всё, и это всё очень интересно и вызывает полное доверие. Важнее всего, что характер героя вылеплен, обрисован, углублён так, что его видишь, слышишь, даже угадываешь в ином умолчании со стороны Моруа. В книге теснится такое множество фигур современников, как в самой «Человеческой комедии». Прочсть эту книгу необходимо хотя бы ради того, чтобы раз и навсегда почувствовать цену писательской добросовестности, цену упорства и неутомимости. А ведь это последняя книга, ему было около 80 лет. Сверх того, свобода мысли, непредвзятость, отсутствие конформизма, простодушие, юмор, жалость, лукавство, – весь джентльменский набор живых свойств таланта.

<...> Вот и написана шестая глава «Мёртвых Душ» и вся статья, целиком перепечатанная на машинке, у меня перед глазами – в ней сорок с чем-то страниц (не учтены вставки, приклеенные сбоку); послезавтра отдам в Москве для перепечатки набело.

Вчера вечером мы были у Симоновых. Костя дал оттиски своих знаменитых военных дневников, которые зарезаны в “Новом мире”. Зоя начала читать и поражается силе и правде написанного. Она думает, что эта проза так и останется надолго неопубликованной.

Сейчас уже ночь, на дворе -20°. Зима наступила всерьёз. После ноябрьского тепла это как-то неожиданно и ещё не верится в прочность мороза. Зубов пишет, что у него на Магадане ещё в ноябре было ниже -40°. <...>

6 декабря

А вот книга о Бальзаке Вюрмсера («Бесчеловечная комедия»). Я её только раскрыл, попробовал прочсть, полистал бегло, но вижу: читать незачем. Это очень типичная, к сожалению, марксистская схоластика: всё намеренно, всё тенденциозно, – указующий перст догматика, свято выполняющего некий заказ, задание или не знаю, как назвать эту проволоку, дёргающую марионетку. Эдакий схоласт от марксизма. При этом он приличный журналист. Но, видно, в детстве его ушибла мамка.

12 декабря

Смотрел в ЦДЛ фильм Симонова и Кармена<sup>82</sup> «Гренада, Гренада моя...» Фильм документальный, о гражданской войне в Испании, о наших тридцатых годах, обо всей предвоенной Европе.

Может быть, потому что я так редко вижу теперь кино, а в театре совсем не бываю, фильм произвёл на меня очень сильное впечатление. Я даже ревел, чего можно было бы и не делать, наверно. Но это действительно произведение высокого искусства: документ, подлинный репортаж Кармена, ставший поэзией, эпосом, балладой, где всё воспринимается как метафора, и всё – в столкновении трёх времён: 1936-38 гг., Отечественной войны, нашего сегодня.

Благодаря тому, что дикторы – сами Симонов и Кармен, это столкновение делается ещё ярче. Три времени воплощены в самом Кармене. В Косте это меньше чувствуется: он был слишком молод в годы испанской трагедии, только и мог, что писать стихи о ней и о

Мате Залка<sup>83</sup>. Но зато, как только на экране Отечественная война, его голос звучит, как боевая труба или как приказ командира; это – подлинное.

Вчера в ЦДЛ было настоящее столпотворение: информация вновь учреждённого Комитета по изучению таинственных астральных тел – «гостей из космоса». Судя по рассказам, мы и тут прозевали, вроде того, как это случилось при Сталине с кибернетикой. Мы издевались над летающими тарелками, а на Западе добросовестно и тихо изучали загадочное явление, строили гипотезы, спорили. Нам предстоит нагонять упущенное. Коротко говоря, человечество стоит перед тайной.

Ещё одно происшествие было в эти дни. Телефонный звонок. Меня вызывает... Париж. Я взволновался, даже размечтался: а вдруг вызов, приглашение... Оказалось совсем другое. Звонила русская журналистка из редакции какого-то журнала. Спрашивает, что могу я сказать в связи с процессом молодых писателей, который, дескать, начнётся на днях у нас в Москве, называет фамилии подсудимых. А я ничего решительно не знаю об этом процессе. Оказывается, об этом передавали по Би-би-си и др. станциям. Но разве это нормально, что старый писатель вынужден признаться в своём незнании о судебном разбирательстве молодых писателей? Разве это мыслимо, что в таком городе, как Москва, как-никак в центре мирового значения, где существуют все средства информации, творятся такие вещи? Это позор и только позор. Конечно, не мой позор, я тут ни при чём. А что за процесс-то? – Через несколько дней узнаём из передачи по Би-би-си или Голосу Америки...

*15 декабря*

Роман американца Кэйдина «В плену орбиты» из серии «Научной фантастики» – достоверное и добросовестное описание того, как американский космонавт, у которого отказали тормозные двигатели, необходимые для конечной посадки на земле, оказался на краю гибели и всё-таки был спасён при некоторой помощи советского космонавта. Впечатление хорошее, потому что нет вранья по части техники (автор отлично разбирается в этих вещах) и эмоции не размазаны, сжаты, и им веришь. Да и политическая тенденция по меньшей мере симпатична. <...>

*16 декабря*

Воспроизвожу здесь одну очень старую запись свою, которую только что нашёл. «Служение искусству – труднейшее из всех служений, труднее, чем служение богу, народу, родине, государству; даже чем служение истине. Служение искусству изнурительно. Оно непрестанно дёргает, изводит, раздражает своих служителей, требует невыполнимого, капризничает, на ходу меняет свои распоряжения, и очень часто оставляет в дураках. Коротко, это АД, на вратах которого недаром было написано “Здесь человек сгорел”. Это мог бы написать не только поэт, но и художник, и музыкант, и актёр. Все мы чернорабочие, подёнщики, рассыльные, скороходы. Нет нам ни сна ни отдыха, ни дна, ни крыши, ни выходных дней, ни отпусков в этой ничем не нормированной гонке, которую мы сами для себя ежечасно заново изобретаем.

*21 декабря*

В Гослите, в редакции классики моя статья о «Мёртвых душах» прочитана. Редактор (некто Вадим Панков) сделал кое-какие замечания для меня приемлемые. Самое значительное из них – убрать полемику с Горьким и больше подчеркнуть значение Белинского для Гоголя. <...> В “Сов. писе” узнал, что книжка моя в январе пойдёт в производство, что Книготорг не возражает против 50 тысяч тиража, что аннотация на книгу уже готова и она в руках у Шиперовича. Оставил там полный текст поэмы.

*22 декабря*

Один из штатных редакторов в Гослите, А. К. Бабирека, подарил мне только что свою вышедшую книгу о Бунине. Я прочитал её в два дня почти залпом. Это хроника, летопись, почти сплошь монтаж цитат. <...> Работа добросовестная, тщательная. Цитаты из писем, большей частью неопубликованных, из старых статей и т.д. Главным образом, письма и разные воспоминания. Облик Бунина вырисовывается ярко, но главным образом человеческий – прихотливый, в слабостях и пристрастиях. Облика художника и роста художника нет совсем. У автора Бабареки нет претензии, очевидно, на характеристику художника, вообще на какую-либо оценку. Но книга хорошая.

На дворе больше 20° мороза. В доме жуткий холод.

Приходил Твардовский в трезвом и очень радушном состоянии, принёс книжку своей последней лирики. Он прочёл мои «Мёртвые Души», склонен взять их для журнала, сделал несколько мелких стилистических замечаний.

Во второй раз читаю книгу Шкловского «За и против» о Достоевском. <...> Сейчас она нравится мне больше – ощущаю его замысел, в чём-то зависящий от концепции Бахтина.

*23 декабря*

Шкловский в эпилоге своей книги о Достоевском, посвящённом его смерти, чего-то не досказывает.

На квартире Достоевского был ночью арестован живший у него (жильцом?) революционер Баранников. От волнения Достоевский опасно заболел и через несколько дней умер. А в марте того же года был убит Александр II.

Шкловский приводит очень странный разговор Достоевского с Сувориным (из воспоминаний последнего). Разговор этот происходил за год до произошедших событий. Речь шла о том, донесли ли бы собеседники, если бы узнали случайно о готовящемся взрыве Зимнего дворца и покушении на царя.

- Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы? – спрашивает Достоевский.
- Нет, не пошёл бы, – отвечает Суворин.
- И я бы не пошёл, – говорит Достоевский. – Почему? Ведь это ужас.

Соображения Шкловского в связи с этим недосказаны, непрояснены. Можно предположить, что Шкловский подозревает, будто бы Достоевский донёс на своего жильца. Но это остаётся в сугубом тумане.

Вся манера Шкловского состоит в некоторой рваности, незавершённости повествования. Она похожа на современный киномонтаж, когда кадры наплывают друг на



друга, – только успевай связывать их. Дело сложное и ненадёжное. Если в случае эпилога (арест на квартире) что-то осталось сознательно затемнённым, это можно, пожалуй, понять. Но с другой стороны, нельзя бросаться такими намёками, если они не слишком проверены, нельзя возбуждать подозрение в читателе (да ещё какое подозрение), если сам не до конца убеждён в его обоснованности. Тут что-то получилось некрасивое. <...>

*24 декабря*

Снова об устарении терминов. Это происходит в литературе и литературоведении. В архитектуре ничего подобного нет. Термины «готика», «ренессанс», «барокко», «рококо», «ампир» сегодня значат то же самое, что и сто, и двести, и триста лет назад. Они реальны и обозначают реальные явления искусства. Между тем, «романтика» (не говоря уже о «романтизме») в применении к Франции, Англии, Германии, России каждый раз меняет характер. Гюго так же не похож на Гофмана, как «Невский проспект» на «Принцессу Брамбиллу» или «Оды и Баллады» на лирику Лермонтова, или «Маскарад» на «Монте Кристо». Всё это разные мироздания, которые, каждое по-своему, взрывают понятие романтизма, растворяют его своей едкой, терпкой и живой самостийностью. Один только классицизм не слишком подвержен этим атакам. <...>

*28 декабря*

Ещё раз приложил руку к эпилогу поэмы: выкинул первую строфу и в середину всадил две новых – не для какого-нибудь прояснения, а разве только для большего разворота картины, для последнего удара в монологе истории. <...> На этот раз удалось ранее неудававшееся; на этот раз, слава Создателю, дело спорится, и я выразил, наконец, давнишний замысел в окончательном виде.

Виктор Шкловский очень талантливый человек, исследователь, аналитик, революционер в литературоведении, пронизательный, зоркий, острый, открыватель новых материалов. Можно сказать о нём похвальное в высшей степени. Но где-то коренится в нём и педант. Например, он просто помешан на определении жанров и на том, что жанры суть нечто непрерывно отменяемое в процессе литературного развития. Ну и слава богу, он когда-то понял эту нехитрую истину, доказал, привёл тысячу примеров. Однако, к этой развалившейся мельнице его тянет неведомая сила из книги в книгу (я разумею его собственные книги). Он слишком часто возвращается к своим собственным истокам. Чувство времени и связанное с ним чувство перемен изменяет даже ему. <...>

*30 декабря*

Разглядывая как бы со стороны свои прежние поэмы, я вижу, что писал их, очень мало заботясь о предварительном плане. У меня не было плана вообще. Он возникал в самой работе и на ходу менялся. <...> Это было и в «Вийоне», и в «Кошее», и в «Переулке за Арбатом», и в более коротких вещах: в «Двух портретах», в «Пикассо», в «Нефертити». То же самое обнаружилось, когда я решил закончить «Повесть временных лет» третьей главой.

Я думаю, что именно так и следует писать. Сама работа, внутри себя, в своём самораскрытии, должна нести план, фабулу. И как раз эти признаки наиболее формальны в

произведениях слова. Для внутренней структуры они значат меньше всего. Сюжет можно пересказать в трёх словах, но содержание вещи при этом остаётся нераскрытым. <...>

*31 декабря*

Вчера я ещё раз (трудно сосчитать, в который именно раз) переписал от руки всю поэму и в самый последний момент, перед концом заключения, сделал в нём одно важное и резкое изменение: совершенно убрал упоминание о моём Вове. Оставил неопределённое упоминание о каком-то друге, который больше никогда не вернётся.

Это правильно. Вся поэма построена на умолчаниях, она избегает конкретности, особенно биографической. Конечно, можно писать и о себе, но не в этой, слишком широко раскинувшейся вещи, не в этом диалоге с историей, а он очень настойчиво осуществляется с начала и до конца. При последней переписке я ещё кое-что уточнял или, наоборот, затуманивал. Теперь, когда вся картина перед глазами, самое время об этом позаботиться.

<...> Твардовский сказал, что “Новый мир” будет печатать мою статью, но не скоро: в мае, а то и позже. Множество заказных статей ждёт своей очереди. Если какая-нибудь из них не пройдёт цензуры, тогда вне очереди пойдёт моя. Не слишком приятно, но я решил ориентироваться только на “Новый мир”. <...>

Мне семьдесят один год с половиной. Конечно, жизнь прошла. Как могла, так и прошла. В ней возможны ещё многие короткие и случайные просветления, возможно трудовое рвение и хорошее чувство беспокойства, но это только выпады из общего строя, не более того. Можно сказать риторически: пора, мол, собираться в дальнюю дорогу. Но в том-то и загвоздка, что никакой дороги не предстоит, надо смотреть на вещи трезво, не тешиться средневековыми иллюзиями. Конец у нашего брата бывает сугубо клиническим и бесповоротным.

## Комментарии

---

<sup>1</sup> Закс, Борис Германович (1908-1998) – прозаик, литературный критик; ответственный секретарь журнала «Новый мир» (1958-1966). С 1979 г. в США, работал на «Радио Свобода».

<sup>2</sup> Бородин, Александр Порфирьевич (1833-1887) – доктор медицины, химик, педагог, композитор, общественный деятель. Участник «Могучей кучки» русских композиторов XIX века.

<sup>3</sup> Вильям-Вильмонт Николай Николаевич; 1901-1986) – переводчик, литературовед, мемуарист, историк культуры.

<sup>4</sup> Шиллер, Фридрих (1759-1805) – немецкий поэт, драматург, философ, историк, теоретик искусства; представитель романтизма в литературе.

<sup>5</sup> Манн, Томас (имя при рожд. Пауль Томас Манн; 1875-1955) – прозаик, мастер эпического романа. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1929).

<sup>6</sup> «Театр» Марины Цветаевой – сборник пьес, большая часть которых была написана ею в годы дружбы с актерами студии Е.Б.Вахтангова (1918-1919). При жизни автора пьесы поставлены не были. Публикация сборника состоялась в 1988 году со вступительной статьей П.Г.А. датированной 1966-м годом.

<sup>7</sup> Эрдман Николай Робертович (1900-1970) – драматург, сценарист, поэт. За политически острые басни был арестован и сослан (1933-1936). Автор множества сценариев и либретто, но постановка в театрах его пьес была разрешена только в начале 1980-ых.

<sup>8</sup> Васильев Павел Николаевич (1910-1937) – поэт, журналист.

<sup>9</sup> Николай I Павлович (1796-1855) – Император Всероссийский, третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны. Сторонник самодержавия невзирая на революции в Европе. Его вступление на престол ознаменовалось Восстанием декабристов (1925) с целью либерализации российского общественно-политического строя и смены формы правления.

<sup>10</sup> Гаргантюа – один из главных героев сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского писателя Франсуа Рабле (1494-1553) о двух великанах-обжорах, отце и сыне.

<sup>11</sup> «L'Annonce faite à Marie» – «Весть, посланная Марии» (пер. с фр.) (1912). Драма Поля Клоделя (1868-1955), французского поэта, драматурга, религиозного писателя XX века, дипломата, младшего брата Камиллы Клодель, ученицы скульптора Огюста Родена.

<sup>12</sup> Эсхил (525-456 до н.э.) – древнегреческий поэт и драматург, мастер всеевропейской трагедии. Из 90 написанных им пьес сохранилось только шесть: «Персы», «Просительницы», трилогия «Орестея» и «Прометей прикованный»..

<sup>13</sup> Кальдерон (имя при рожд. Педро Кальдерон де ла Барка; 1600-1681) – испанский поэт и драматург, автор драм чести, философских драм и комедии интриги. Классик европейской литературы, которого именовали «католическим Шекспиром».

<sup>14</sup> Брехт, Бертольд (имя при рожд. Ойген Бертольд Фридрих Брехт; 1898-1956) – немецкий поэт, прозаик, драматург, театральный деятель. Новатор, чья теория и практика «эпического театра» оказала значительное влияние на развитие театра XX века.

<sup>15</sup> Плутарх (ок.46-ок.127 н.э.) – древнегреческий писатель, философ, просветитель, общественный деятель римской Греции (периода греческой истории после победы Рима). Автор трудов «Сравнительные жизнеописания» и «Нравственные сочинения» («Моралии»).

- 
- <sup>16</sup> Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956) – поэт, переводчик, критик филолог-стиховед.
- <sup>17</sup> Волошин Максимилиан Александрович (фамилия при рожд. Кириенко-Волошин; 1877–1932) – поэт, переводчик, критик, пейзажист; представитель символизма.
- <sup>18</sup> Лозинский Михаил Леонидович (1866–1955) – поэт, переводчик, один из создателей советской школы поэтического перевода, представитель акмеизма; Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991) – поэт, прозаик, переводчик, искусствовед; детский писатель.
- <sup>19</sup> Райт-Ковалёва Раиса Яковлевна (фамилия при рожд. Черномордик; 1898–1988) – прозаик, переводчик, поэт, мемуарист; биограф В.В.Маяковского.
- <sup>20</sup> Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – прозаик, драматург, художник; представитель реализма. Сослан по политическому делу (19010-1905). С1921 г. в эмиграции (Берлин, Париж).
- <sup>21</sup> Пильняк Борис Андреевич (фамилия при рожд. Вогау; 1894–1938), Артём Весёлый (имя при рожд. Николай Иванович Кочкуров; 1899-1938) и Малышкин Александр Георгиевич (1892-1938) – прозаики. Как и П.Г.А. полвека назад, современные литературоведы видят общее в их творчестве: лучшие произведения А.Весёлого и А.Г.Малышкина были написаны ими в эпической и экспрессивной манере Б.А.Пильняка. Эта плодотворная но «грубо оборванная тенденция в современной культуре» – результат политических репрессий 1937 года. Б.Пильняк и А.Веселый были расстреляны. Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – прозаик, основоположник «производственного романа» в советской литературе («Цемент»), лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951).
- <sup>22</sup> Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт, переводчик, сценарист; представитель футуризма и соцреализма. Лауреат Сталинской премии (1941).
- <sup>23</sup> Асадов Эдуард Аркадьевич (1923-2004) – поэт, переводчик.
- <sup>24</sup> Кьюниц Стэнли (1905-2006) – поэт, критик, редактор, лауреат Пулитцеровской премии. В 1958 г. был с визитом в СССР; переводил на английский стихи А.Ахматовой, А.Вознесенского, Е.Евтушенко.
- <sup>25</sup> Светлана Иосифовна Аллилуева (1925-2011) – литературовед, переводчик, канд. филол. наук; дочь И.В. Сталина и Н.С. Аллилуевой. Книга «20 писем к другу», содержащая воспоминания о родителях и кремлевской жизни и опубликованная в 1967 году в Лондоне, принесла автору мировую известность. В СССР эта книга входила в категорию «запрещённой литературы» вплоть до «Перестройки» 1985 года.
- <sup>26</sup> Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – генеральный секретарь ЦК КПСС (1966–1982). Участник ВОВ (нач. политуправления, Украинский фронт). Период его правления называют «Брежневским застоём», характеризовавшимся упадком экономики, давлением на др. соц. страны, Афганской войной (1979-1989), алкоголизацией населения и травлей интеллигенции.
- <sup>27</sup> Вилье, Лиль-Адан Огюст де (1838-1889) – французский писатель, драматург.
- <sup>28</sup> Кардуччи, Джозуэ (1835-1907) – итальянский поэт, критик, историк литературы. Лауреат Нобелевской премии по лит-ре ( ).
- <sup>29</sup> Казанова, Джакомо (имя при рожд. Казанова, Джакомо Джироламо; 1725–1798) – итальянский авантюрист, путешественник; автор книги «История моей жизни», описывающей его любовные похождения. Ловелас, Роберт сэр – персонаж романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса» (1748), красавец-аристократ, коварный соблазнитель. Оба имени стали нарицательными и используются в значении «женский обольститель», «ненасытный обольститель».

---

<sup>30</sup> Дон Жуан – литературный и театральный персонаж, чье имя стало нарицательным обозначением повесы и распутника. Прототип – дон Хуан Тенорио из аристократического рода в Испании XIV столетия.

<sup>31</sup> «Всякими текекелянами» П.Г.А. называет партийных чиновников писательской организации. Превратив фамилию в имя нарицательное, он подчеркивает их бездушность и бесчеловечность.

<sup>32</sup> Громов Павел Петрович (1914-1982) – литературовед, театровед, поэт, переводчик.

<sup>33</sup> Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) – поэт, редактор, правовед, чиновник. На многие его стихи написаны романсы П.И.Чайковским.

<sup>34</sup> Уланова Галина Сергеевна (1909–1998) – балерина, педагог.

<sup>35</sup> Маргвелашвили Георгий Георгиевич (1923-1989) – грузинский критик, литературовед, переводчик.

<sup>36</sup> Державин Гавриил Романович (1743-1816) – поэт, государственный деятель; Антиох Дмитриевич Кантемир (1708–1744) – поэт-сатирик, дипломат; архиепископ Феофан Прокопович (1671-1736) – политический и духовный деятель, универсальный ученый, а также теоретик литературы, драматург, поэт, автор эпитаграмм. Все трое – поэты русского классицизма (силлабической эпохи), способствовавшие развитию русского литературного языка и стихосложения.

<sup>37</sup> Гейченко

<sup>38</sup> Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – прозаик, мемуарист.

<sup>39</sup> Оревилли, Жюль Амеде Барбе де (1808–1889) – французский прозаик, публицист.

<sup>40</sup> Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – прозаик, сценарист, журналист, педагог. Участник Первой мировой и Гражданской войн, ВОВ (воен. кор.). В 1950-60-е годы – один из составителей коллективных сборников демократического направления «Литературная Москва» (1956) и «Тарусские страницы» (1961).

<sup>41</sup> Гончар Олесь (имя при рожд. Гончар Александр Терентьевич; 1918–1995) – поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Участник ВОВ. Секретарь Союза писателей СССР (1959-1986).

<sup>42</sup> Кетлинская Вера Казимировна (1906-1976) – прозаик, сценарист.

<sup>43</sup> Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) – философ, культуровед, литературовед, лингвист. Исследуя художественные принципы романа Франсуа Рабле (ок.1494-1553), развил теорию универсальной народной смеховой культуры.

<sup>44</sup> Жена Даниеля – Богораз Лариса Иосифовна (1929–2004) – лингвист, канд. филологических наук, педагог, публицист; правозащитница, предс. Московской Хельсинской группы (1989-1996).

<sup>45</sup> Рыльский Максим Фадеевич (1985–1964) – поэт, переводчик, педагог. Академик АН УССР (1943), АН СССР (1958).

<sup>46</sup> Храмов Евгений Львович (фамилия при рожд. Абельман; 1932–2001) – поэт, переводчик. Редактор Всесоюзного радио, изд-ва «Сов. писатель», зав. отд. Поэзии журнала «Новый мир».

<sup>47</sup> Папа Павел VI (1897–1978) – папа Римский (1963-1978); Де Голль (1890–1970) – французский государственный и военный деятель, первый президент Пятой республики (1959-1969); Роберт Кеннеди (1925-1968) – американский государственный и политический деятель.

<sup>48</sup> Шэфнер Вадим Сергеевич (1915-2002) – поэт, прозаик, переводчик. Участник ВОВ (воен. кор.)

<sup>49</sup> Орлов Сергей Сергеевич (1921–1977) – поэт, сценарист; секр. правления СП РСФСР.

---

<sup>50</sup> Мата Хари (имя при рожд. Маргарета Гертруда Зелле; 1876–1917) – танцовщица «восточного стиля»; Во время Первой мировой войны занималась шпионской деятельностью в пользу Германской империи.

<sup>51</sup> Олеша Юрий Карлович (1899-1960) – поэт, прозаик, публицист; член одесского литературного кружка 1920-х гг.

<sup>52</sup> Нарбут Владимир Иванович (1888–1938) – поэт, критик, редактор; представитель школы акмеизма.

<sup>53</sup> Бонапарт, Наполеон I (1769-1821) – французский император (1804-1814, 1815), полководец и государственный деятель.

<sup>54</sup> Капитан Копейкин – персонаж повести Н.В.Гоголя, инвалид войны 1812 г., отправляется в Петербург в надежде на вознаграждение за службу и компенсацию инвалидности и, не добившись справедливости, становится предводителем банды грабителей.

<sup>55</sup> Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) – поэт, переводчик, критик, педагог; основоположник романтизма в литературе.

<sup>56</sup> Абакумов Виктор Семёнович (1908–1954) – государственный деятель, генерал-полковник, министр госбезопасности СССР (1946–1951). Участник ВОВ (начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ», 1943-1946). Обвинён в государственной измене и расстрелян, реабилитирован.

<sup>57</sup> Тито (имя при рожд. Броз Тито, Иосип; 1892–1980) – югославский государственный и военный деятель, президент Югославии (1953–1980). Участник ВОВ (лидер партизанского движения в Восточной Европе). Противостоял политическому давлению СССР, заняв позицию неприсоединения.

<sup>58</sup> Туполев Андрей Николаевич (1888–1972) – генеральный конструктор авиационной промышленности СССР, академик АН СССР (1953). Арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (1937), освобождён (1941), реабилитирован (1955).

<sup>59</sup> Вирта Николай Евгеньевич (фамилия при рожд. Карельский; 1905-1976) – прозаик, драматург, сценарист. Участник Советско-финской войны и ВОВ (воен. кор. газет «Правда», «Известия», «Красная звезда»). Лауреат Сталинских премий (1941, 1948, 1949, 1950).

<sup>60</sup> Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер сэр (1874–1965) – премьер-министр Великобритании (1940-1945, 1951-1955), писатель, лауреат Нобелевской премии по лит-ре (1953); Трумэн, Гарри С. (1884–1972) – 33-ий президент США (1945–1953), выступал за противостояние СССР и коммунистическим силам и единоличное лидерство США во всем мире.

<sup>61</sup> Гатов Александр Борисович (1899–1973) – поэт, прозаик, переводчик.

<sup>62</sup> Бек Александр Альфредович (1902/03–1972) – прозаик, работавший в жанре производственной и военной прозы. Участник Гражданской войны и ВОВ (воен. кор.). П.Г.А. упоминает его недопущенный к публикации роман «Новое назначение» (1965).

<sup>63</sup> Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) – живописец, академик Императорской Академии художеств (1905), главный декоратор и художник московских театров (с 1910).

<sup>64</sup> «Мир искусства» – художественное объединение (1898–1927) основателями которого стали петербургский художник А.Н.Бенуа (1870–1960) и театральный деятель С.П.Дягилев (1872–1929) при финансовом содержании княгини М.К.Тенишевой (1858–1928).

<sup>65</sup> Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – общественный деятель, историк искусств, художественный и музыкальный критик, архивист.

---

<sup>66</sup> Репин Илья Ефимович (1844– 1930) – живописец, педагог, действительный член Императорской Академии художеств; ключевая фигура русского реализма.

<sup>67</sup> Делакруа, Фердинан Виктор Эжен (1798–1863) – французский живописец, график, представитель школы романтизма.

<sup>68</sup> Гастев Алексей Алексеевич (1923–1991) – художник, журналист, автор сценариев к научно-популярным и документальным фильмам, автор статей по изобразительному искусству, литературе, кино и театру.

<sup>69</sup> Энгр, Жан Огюст, Доминик (1780-1867) – французский живописец, график, представитель европейского академизма XIX века.

<sup>70</sup> Тьер, Мари Жозеф Луи Адольф (1797–1877) – президент Франции (1871–1873), историк, автор трудов по Великой французской революции.

<sup>71</sup> Талейран-Перигор, Шарль Морис де (1754–1838) – премьер-министр Франции (1815), министр иностранных дел (1797, 1799–1807, 1814–1815). Мастер политической интриги, чьё имя стало нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности.

<sup>72</sup> Гейне, Христиан Иоганн Генрих (1797–1856) – немецкий поэт, прозаик, критик. Мастер сатирического жанра (фельетон). Эмигрировал во Францию (1830).

<sup>73</sup> Ибсен, Генрих Юхан (1828-1906) – норвежский драматург, поэт, публицист.

<sup>74</sup> Потёмкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791) – государственный деятель, создатель Черноморского военного флота, генерал-фельдмаршал. Основатель городов Херсон, Севастополь, Николаев Екатеринослав.

<sup>75</sup> Вийон, Франсуа (1431–1463) – поэт французского Средневековья. Фигура знаковая для творчества ПГА: «Франсуа Вийон» – одна из его первых стихотворных поэм (1934), посвященная Е.Б.Вахтангову.

<sup>76</sup> Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – прозаик, сценарист, журналист. Участник ВОВ (воен. кор.). Лауреат Нобелевской премии по лит-ре (1965).

<sup>77</sup> Кюстин, Астольф Луи Леонор де (1790–1857) – маркиз, французский прозаик, путешественник, получивший мировую известность благодаря своей книге «Россия в 1839 году» (1843).

<sup>78</sup> Маркс, Карл Генрих (1818–1883) – немецкий философ, социолог, историк, общественный деятель. Автор классического научного труда «Капитал. Критика политической экономии» (1867).

<sup>79</sup> Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – инженер; прозаик, критик, публицист, сценарист. Как литератор работал в жанре научной фантастики и исторического романа. Мировую известность получил его роман «Мы», с которого в мировой литературе начался жанр антиутопии.

<sup>80</sup> Евтушенко Галина Семёновна (фамилия при рожд. Сокол; 1928-2013) – вторая жена Е.А.Евтушенко.

<sup>81</sup> Фолкнер, Уильям Катберт (1897–1962) – американский поэт, прозаик; лауреат Нобелевской премии по лит-ре (1949).

<sup>82</sup> Кармен Роман Лазаревич (фамилия при рожд. Корнман; 1906–1978) – кинооператор, кинорежиссёр, прозаик, документалист. Участник Гражданской войны в Испании и ВОВ (воен. кор. и фронтовой оператор). Получил известность за съёмки из военной Испании и при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии.

<sup>83</sup> Залка, Мате (имя при рожд. Франкль, Бела; 1896–1937) – венгерский прозаик, творчество которого посвящено военной тематике. Генерал, участник Первой мировой и двух Гражданских войн: в России и в Испании.

